

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Автор сатирической повести «Телеграмма из Москвы» Леонид Богданов — писатель молодой. Он родился в 1918 году в Киеве. О себе автор рассказывает следующее:

«Вся жизнь прошла на колесах. Началось это с детства, потому что отец и мать были актерами и все время разъезжали. Пожалуй, нет такого города в России, где мне не пришлось побывать. Я так же хорошо знаю Елагин остров в Ленинграде, как Аркадию в Одессе, Золотой Рог во Владивостоке или Стрийский парк во Львове. Разница только в том, что по Стрийскому парку я ходил в военной форме.

Литературой я интересовался с детства. Пристрастил меня к ней мой дед, написавший в свое время три книги сатирических рассказов и стихов. Первый мой рассказ был написан, когда мне было семь лет. Вернее, это был не рассказ, а пересказ своими словами истории, рассказанной мне дедом. Во время писания дед стоял за моей спиной и все время ворчал: «Короче, яснее. Пиши так, как говоришь».

Когда дед умер, литературное воспитание перешло к матери. У нее был другой метод: вечера напролет она читала вслух книги — любые, какие только можно было достать, а потом заставляла пересказывать прочитанное.

Результатом было то, что я написал рассказ «Трактор». Это было в двадцать восьмом году. Отец, прочитав рассказ, старательно порвал его на мелкие клочки и предупредил мать: «На что ты его толкаешь? Ты хочешь, чтобы нас посадили?»

Литературные мои занятия для безопасности семьи были прекращены. Однако, писательский зуд, привитый дедом, иногда не давал мне покоя и время от времени, на горе и страх родителям, я кое-что пописывал.

В годы ежовщины я написал довольно большой рассказ «Майор государственной опасности» и имел с отцом очень длинный разговор о пользе литературы и об отдаленных местностях Сибири.

Пришлось пожалеть, и без того ожидавших каждый день ареста, родителей и литературные упражнения прекратить.

На смену пришло увлечение спортом и авиацией. Несколько лет подряд я делил свободное от занятий в школе и в институте время между спортивным залом и аэродромом аэроклуба. Потом в воздухе запахло войной и думать о продолжении учебы в институте было нереально. «Все равно не доучишься, забреют в солдаты», — так говорили все.

Как выпускник пилотских курсов аэроклуба, я был кандидатом в военное лётное училище. Воспользовался этой возможностью и поступил. Здесь,

однако, долго не продержался. Оставив на память училищу два сломанных шасси и полкрыла, с пометкой в личных делах: «Воздушное хулиганство», я поклонился красным кирпичам казармы и пошел на станцию на предмет перетранспортировки в другое, уже не лётное, училище.

Ну, а потом: «Выше ножку... товарищ курсант, два наряда вне очереди... Не рассуждайте, за вас начальство думает...» И через два года думающее начальство решило, что мне все же стоит прицепить в петлицу два кубика. А еще додумалось начальство отправить меня на самую границу, где 22 июня первый же немецкий снаряд врезался в землю в десяти метрах от моей палатки, взорвался и потревожил мой сон. В Москве люди еще спокойно спали, а я уже куда-то стрелял и думал, что на запад.

Потом было большое отступление, потом было большое наступление, потом более двух лет я провел в немецком тылу, где под каждым кустом были готовы не только стол и дом, но при надобности и могила. Ночью ставил мины, днем стрелял, днем и ночью ловил немцев, и днем и ночью же спасался, чтобы немцы меня не поймали. И, наконец, они меня все же поймали. Вернее, сам поймался: захотелось полакомиться парным молоком, вышел на рассвете из леса и, вместо того, чтобы увидеть морду буренушки, выглядывающую из сарая, увидел физиономию немца с пулеметом. Дистанция от меня до пулемета — четыре шага, и от пулемета до меня — столько же. А до леса раз в двести больше.

Вначале повели на расстрел, тщательно объяснив это жестами и словами. Потом подоспел какой-то немецкий капитан на лошади и мои конвоиры так же старательно, как прежде, стали объяснять мне мимикой и жестами, что я поеду в лагерь.

Лагерь, как лагерь. Два раза в день дают баланду, три раза в день строят, считают и никак не могут сосчитать — сколько.

В перерывах между построениями и баландой, сидя на верхних нарах в инвалидном бараке (инвалид первой категории: два тяжелых ранения, четырнадцать легких), я начал писать. Но у немцев на литературном поприще мне не повезло. Кто-то «стукнул» начальнику лагеря и полицейские всю мою литературную продукцию отобрали. Начальник антисоветские вещи похвалил, а за «произведения» из лагерной жизни обещал: «Мы вас перед строем палкой будем бить».

Однако, все же не били и, в конечном итоге, грозный начальник лагеря больше помог мне, чем навредил. Он помог мне поступить добровольцем в РОА, правда уже к самому шапочному разбору.

Потом — капитуляция. «Родина зовет» — кто не идет сам, того ловят, а судьба у всех одна. Опыт партизанских лет помог мне благополучно и успешно убежать.

Потом Америка. Пиши — что хочешь и сколько хочешь. И, наконец, я по-серьезному взялся за перо, вернее за пишущую машинку.

Сейчас работаю над сатирической повестью «Далеко от Москвы и Вашингтона». Когда устаю от больших вещей, отдыхаю за короткими рассказами и статьями для журнала «Свобода» и радиостанции «Освобождение».



«Телеграмма из Москвы» — сатирическая повесть, написанная по советской действительности.

Условный Орешниковский район, в котором происходит действие пове-

сти, в этом отношении типичен для любого места Советского Союза. Автор хорошо знает все стороны советского быта, советской жизни вообще, включая методы партийной работы и пропаганды, и настроение населения. Ему удалось свои разнородные и разноместные наблюдения и впечатления, вынесенные из Советского Союза, слить в почти конкретно ощущаемый «определенный» район и райком, — с тем, чтобы они вылились из этих узких рамок широким обобщающим потоком.

Гиперболизм и гротеск, сознательно «культивируемые» автором, роднят его с известными Ильфом и Петровым, придавая сатире убедительность.

И это не парадокс: и после «исторического XX съезда КПСС» многое в СССР, «благодаря мудрому руководству партии и правительства», носит гротескный характер — характер не нормальной человеческой жизни, а жизненной трагедии. Эта трагедия выступает и через сатиру автора. В этом смысле в царстве коммунистической диктатуры ничего не меняется и измениться не может. Пусть меняются некоторые стороны быта, сущность неизменна.

Вот почему повесть Леонида Богданова интересна всегда — ею схвачена суть «потустороннего» быта.

Глубокая, все проникающая, жалость к человеку — вот то чувство, которое движет автором во всем, иногда даже на первый взгляд причудливом, развитии сюжета.

Картина, нарисованная автором к сорокалетию установления советской власти в нашей стране, — убийственный приговор системе. В нем заключен также приговор и всякого рода «прогрессивным» сосуществователям с коммунизмом.

ГЛАВА I

ТЕЛЕГРАММА ИЗ МОСКВЫ

В самый разгар заседания бюро Орешниковского райкома КПСС, когда под облупленным и закопченным потолком уже плавали живописные табачные тучи, а первый секретарь райкома Столбышев, охрипший и обессиленный, рисовал в блокноте чертиков, в кабинет вошла техническая секретарша.

— Федор Матвеевич! — позвала она голосом взволнованным и тревожным. — Федор Матвеевич!.. Телеграмма из Москвы!.. Срочная!.. Правительственная!..

— Гм... Того-этого... По какому вопросу? — спросил нерешительно Столбышев и мгновенно вспотел. На наголо обритой голове его выступили крупные капли, вид у него был растерянный и беспомощный.

— Правительственная, говоришь? — Переспросил он. — Гм... Значит, того-этого... Эх, предупреждал же я вас, товарищи! — Столбышев горестно покачал головой и с обреченным видом взял из рук технической секретарши телеграмму.

Но по мере того как он, шевеля губами, читал ее, побледневшие его щеки обретали румянец, а улыбка расплзлась по лицу все шире и шире. Глядя на него, все присутствовавшие тоже стали улыбаться и у каждого на лице было написано нечто среднее между «Ура!..» «Спасибо родному правительству!..» «Выполним!..» и «Всегда готовы!..»

— Так вот, товарищи! — радостно возвестил Столбышев, — зачитываю телеграмму. Значить... Гм.. Того-этого... Телеграмма из Москвы... Эх, и дело мы развернем!.. Провернем, товарищи?

— Провернем! — эхом откликнулись ему члены бюро райкома.

— Ты, Федор Матвеевич, лучше прочитай в чем дело, — посоветовал ему председатель райисполкома Семчук.

— Так вот, значить, из самой Москвы, — продолжал Столбышев. — Москва, Министерство заготовок СССР... Гм!.. Значить... Того-этого... «Для важного правительственного мероприятия вам надлежит срочно заготовить тысячу воробьев. Отбирать лучших. Заготовку окончить к двадцатому августа. Принимать буду лично. Замминистра Кедров». — Ну как? — спросил он, сияя как начищенная песком медная сковорода.

Ликование было всеобщим. Все выражали самый неподдельный восторг и умиление и с внезапно вспыхнувшим энтузиазмом заверяли отца-отцов района, первого секретаря райкома Столбышева, что

важное правительственное задание будет выполнено с честью и досрочно. Второй ж секретарь райкома товарищ Маланин стал отзываться о задании не иначе, как с добавлением эпитетов «гениальное» и «мудрое».

На фоне этой радостной и бодрящей картины, как черный унылый ворон среди весело щебещущих пернатых, выделялся Семчук. Этот желчный, болезненного вида человек, небритый, худой, с торчащим обросшим кадыком, был отчаянным скептиком. Язык он имел злой и критический. Не удержался он и сейчас, и скрипящим голосом стал сеять сомнения в отношении правдивости текста телеграммы.

— Тут какая-то ошибка, говорил он. — Зачем в Москве понадобились наши воробьи? Там своих достаточно. Да и вообще, для чего можно приспособить воробья? Ведь воробей — дрянь, а не птица.

— Гм... Того-этого... Я попрошу не оскорблять важного, так сказать... — сумрачно заметил Столбышев, внезапно почувствовавший к воробью уважение.

Затем Столбышев разразился очень длинной и обстоятельной речью, в которой поведал всем много важного, нового и интересного. Он говорил, что «воробей — пернатое существо», «птица дикая», «живет в гнездах», «в царской России воробья не использовывали», воробей несет яйца», «воробей не поет, а чирикает» и ряд других данных о «пернатом друге», как даже окрестил его Столбышев. Речь свою он заключил предсказанием «великого будущего воробьеводству».

— Как гриб раньше был гриб и своего рода пища и закуска, а теперь стал пенициллин, так и воробья передовая советская наука превратит в полезную птицу для медицины или, того-этого, для оборонных нужд, так сказать, — докладчик неопределенно пошевелил в воздухе пальцами, как бы давая этим понять, что мало ли чего для обороны не делается. Последняя догадка Столбышева особенно пришлась по душе парторгу колхоза «Заря Коммуны» Тырину. Тырин во время войны служил в «собачьем батальоне» и лучше других знал, что для оборонных нужд можно использовать животных.

— Вот, например, собака, — говорит он, — жучка и все, вы думаете? Нет! На войне собака — истребитель вражеских танков. К собаке привязывается взрывчатка, и она выдрессирована так, что сама бросается под гусеницы танка. Танк — к чертям собачьим! А к воробью можно привязать маленькую атомную бомбочку...

— Глупости, — перебил его Семчук.

— Как так глупости? — возмутился Маланин. — Товарищи! Я вижу, что некоторым не по душе гениальное задание партии и правительства! Не вражеская ли рука пытается сорвать мудрое задание? Бдительность — долг каждого коммуниста! В исторических решениях двадцатого съезда...

— Коля, оставь!.. Ну зачем человеку пришивать? — примирительно заговорил Столбышев. — Ну, Семчук ошибся, не доучел, так сказать... Правда, ведь?

Семчук нервно поднялся и произнес короткую покаянную речь. Единство коллективного руководства было восстановлено. Но покаяние Семчука было неискренним. Через некоторое время он взял слово и весьма дипломатично напомнил, что в телеграмме не указано, как заготавливать воробьев: живыми или мертвыми, а поэтому предлагал

направить в Москву соответствующий запрос, — что, кстати, поможет выяснить достоверность текста телеграммы, — добавил Семчук.

— Что?! — неожиданно обиделся Столбышев, — ты хочешь, чтобы меня в Москве посчитали за простофилю, так сказать? Чтобы в Москве подумали, что Столбышев, того-этого, отстает от жизни? За все время истории Орешниковского района это, так сказать, первое задание из Москвы от самого правительства и мы покажем себя простачками? Нет! Мы с честью выполним гениальное и мудрое, я бы сказал, того-этого, историческое задание!

— Выполним! — единогласно заявило собрание бюро райкома.

Так в глухом сибирском районе, за несколько тысяч километров от Москвы, за несколько сот километров от областного центра, за восемь километров от железной дороги, началась замечательная эпопея включения обыкновенного воробья в строительство коммунистического общества.

ГЛАВА II

ПОЗНАКОМИМСЯ С ОРЕШНИКАМИ

«Широко и привольно раскинулось большое село Орешники на берегу полноводной реки», — так бы написал искушенный писатель о районном центре — деревне Орешники. Затем он, искушенный писатель, описал бы природу: какие-нибудь суглинки и вековые дубы, травку, пчелок, птичье пенье, приврал бы насчет необыкновенного заката — «когда солнце медно-красное медленно бросало последние умирающие лучи на безбрежную гладь реки...» Таким образом, промуржив читателя хороших десятков страниц, писатель по существу ничего нового для читателя не сказал бы, ибо все мы природу видели и, ей Богу, в гораздо более натуральном виде, чем о ней пишется. Поэтому автор от художественного описания деревни Орешники отказывается, а просто дает в сухой форме необходимые данные:

1. Деревня Орешники была основана в 1583 году казаком Орехом из казачьего отряда Ермака Тимофеевича (Ермак Тимофеевич родился неизвестно когда, погиб в 1584 году — историческая справка).

2. Почему именно на этом месте, а не на другом, было основано Орехом селение, история не дает ответа. Но народное предание гласит, что казак Орех, в пьяном виде отбившись от Ермака Тимофеевича, долго блуждал среди пустынных (читай — таежных) массивов. Не видя живого человека, Орех решил было уже постричься в монахи. Но так-как стричься было негде и нечем, Орех остался казаком и все блуждал, и блуждал, и блуждал. Питался он акридами и диким медом, постоянно тоскуя по горилке. В один прекрасный день перед взором обессиленного казака предстало чудное видение — величественный олень! Олень был, как олень. Ничего особенного — хвостик, ноги, рога и копыта и тому подобное. Но на развесистых рогах его на обыкновенном сыромятном ремешке болталась фляга. Видимо, олень, пробираясь через таежную чащу, подцепил на рог казачью подружку и избавиться от нее никак не мог. Все это привело Ореха в неописуемый восторг.

— А, забодай тебя комар! — воскликнул он в переводе на цензурный язык и, алчно выпучив глаза, бросился с растопыренными объятиями на оленя, при этом смачно крякая, как то и положено каждому русскому человеку перед выпивкой. Величественный олень не будь дурак — ходу. Орех за ним. Так продолжалась погоня до тех пор, пока преследуемый олень не бросился с крутого берега в реку. Как только он погрузился в воду, фляга всплыла на поверхность, сыромят-

ный ремешок отцепился от оленьего рога, олень поплыл прочь, а флягу понесло вниз по течению.

Жребий судьбы, долженствующий установить, где будут основаны Орешники, был брошен. Все зависело от того, в каком месте Орех выудит флягу. И поймал он ее, матушку, у высокого берега (суглинки, вековечные деревья, пчелки, закат и т. д.), поймал и сразу же осушил без закуски — единым махом. Мгновенно захмелев, казак Орех выбрался на высокий живописный берег (трава, цветы, птички поют и т. д.), немного покуражился, спел несколько песен и заснул, громко икая.

Во сне хмельному Ореху, как каждому пьяному человеку, стала сниться разная чепуха: приснилась баба Маланья — жена его венчанная. Она сквернословила и совала ему под самый нос фиги. Ее сменила татарская княжна удивительной красоты и вся в золотом убрании. Она подмигнула Ореху черным глазом и спросила, не желает ли он стать татаринном. Услышав в ответ, что Орех желает только еще хоть немного горилки, татарская княжна станцевала грустный танец, жестами и сложной мимикой показывая, что чего-чего, а вот этого, молде, нет, и сгнула, улетучилась с винными парами из буйной головушки казацкой.

И, наконец, Ореху приснился пышный град. Местность как будто та же, где он выловил флягу, но кругом огромные дома с резными петушками на ставнях, белоголовые церкви и, конечно, соответствующий граду размером — острог, или как его называли нынешние орешане — «тюряга».

Проснувшись, казак Орех повернулся на живот и, пощипывая ртом на похмелье душистую травку, стал соображать, что это за величественный град мерещился ему и не есть ли это предзнаменование чего-то такого-этакого... до чего по лени своей Орех не мог додуматься, а сразу же соорудил шалаш и стал ловить рыбу, собирать кедровые орехи и конкурировать с местными медведями по обдиранию осиных гнезд. Потом он поймал на аркан несколько диких инородцев, перекрестил их в веру христианскую, заставил построить срубы, — вначале для себя с резными петушками, а потом для них — без всяких петушков. И, наконец, когда был выстроен острог, Орех объявил себя князем, обложил всех великой данью и жизнь пошла, как по маслу. Селение же было названо жителями из чисто подхалимских побуждений «Орешники», что, впрочем, не уменьшило, как на то надеялись жители, а лишь увеличило дань князю Ореху, который мало заботился об увековечении своего имени, а больше интересовался тем, что было необходимо ему сейчас.

3. До революции в Орешниках было 420 дворов и две церкви. Население составляло 1610 душ. В Орешниках было около 800 лошадей, 1367 коров (телята, свиньи, овцы и прочее не в счет). Кроме этого в Орешниках томилось 26 жертв кровавого царизма — политических ссыльных. Узнать политических ссыльных можно было легко, потому что они, в отличие от местных жителей, ходили в добротном городском платье, носили черные шляпы, пенсне, не стригли бороды и постоянно таскали подмышками политическую литературу. При встрече с ними коренные орешане снимали шапки и кланялись: «Здрав-

ствуй, барин». А жертвы царизма отечески хлопали их по плечу и обещали поскорее освободить от цепей рабства.

— Ужо мы вас ослобоним из неволюшки, — говорили они, подражая народному языку.

— Благодарствуем, — отвечали орешане и шли домой выжидать, когда оковы падут и у каждого будет по десять коров вместо трех.

4. Когда цепи рабства пали, был построен социализм и страна, со всех тормашек сорвалась, понеслась к коммунизму, в Орешниках стало 262 двора, 184 индивидуальных коровы — животных опрятных и уважаемых, 86 коров — грязных, забитых и с печальными глазами в колхозе «Знамя победы», 32 коровы таких же отверженных в колхозе «Изобилие», и соответственно уменьшенное количество телят, свиней и овец. Население Орешников составляло 1261 человек и более полуторы тысячи заключенных в районной тюрьме.

5. Как видно из предыдущего пункта, социализм в Орешниках из мечты превратился в действительность. Твердьни социализма в Орешниках представляли собой два вышеупомянутых колхоза, а трудовой энтузиазм нового общества вызывался самим существованием величественного здания районной тюрьмы — единственной постройки, воздвигнутой при советской власти на месте старого острога.

Был в Орешниках еще и третий колхоз — «Красные сети», рыболовецкого направления, но после двухлетнего существования его расформировали. История этого колхоза весьма поучительна и подготавливает читателя к правильному пониманию последующих глав, — поэтому автор разрешит себе на ней остановиться.

В конце тридцатых годов областное начальство установило, что рыбные богатства Орешниковского района преступно не используются в то время, как страна нуждается в рыбе. Хотя Орешниковский район с начала организации области был включен в ее состав и областные тузы, посещая район, не один час просиживали с удочкой и хвалили чудную ловлю, — отвечать за неиспользование рыбных богатств пришлось Хлебникову — секретарю райкома. Его, голубя сизого, арестовали и растворился он в пространстве, как видение татарской княжны из головы казака Ореха.

Новоприбывший секретарь райкома Шишиберидзе был из грузин, носил кубанку из серого барашка, под которой бушевала только энергия, а ума было в ней ровно столько, сколько имели владельцы шкуррок, из которых была сделана красивая шапка его. Шишиберидзе бурно взялся за организацию рыболовецкого колхоза. В одно мгновение он его организовал, назвал «Красные сети» и станцевал лезгинку после первого общего собрания колхозников.

— Асса!.. Асса!.. — кричал он, выбрасывая лихие коленца кривыми ногами в мягких кавказских сапожках, плавно поводя руками, скаля белые зубы из под черных усов и тараща глаза. Танец, полный восточного темперамента, очень понравился медведеподобным орешниковским рыбакам. Но когда сразу после танца Шишиберидзе приказал: — Лови ему! — подразумеваемая под этим начало весенней путины, рыбакам это не понравилось.

— А как с бочками? А как с солью? — спрашивали они.

— Область пришлет все! Приказываю: лови ему! — Шишиберидзе сделал зверские глаза и картинно положил руку на то место, где кав-

казскому человеку положено иметь эфес кинжала. Колхозники-рыболовы почесали затылки и, кряхтя, полезли без порток в одних только длинных рубахах в холодную воду забрасывать сети. Улов удался на славу. На берегу в вырытой большой яме, блестя чешуей, шевелилась живая плотная масса рыбы. На второй день, когда рыба уже перестала шевелиться и засыпали новую яму свежим уловом, Шишиберидзе, охрипший, с воспаленными глазами, сидел в райкоме и через каждый час звонил в область.

— Ты слышишь? Если не пришлешь соль, мы в Москву звонить будем!..

На третий день, когда из первой ямы понесло отвратным запахом тухлятины, а третью яму засыпали рыбой, Шишиберидзе с диким гиком промчался на пролетке в конец деревни и, начиная с крайней избы, стал поголовно реквизировать соль. Обобрав все Орешники до последней щепотки соли, Шишиберидзе, гордо стоя на пролетке, выехал на берег и, со словами: «Нэт таких крепост, чтоб ему большевики не взяли!» — самолично вывернул всю соль из пролетки в первую яму и на глазах остолбеневших рыбаков проворно перемешал лопатой тухлую рыбу с солью.

— Лови ему дальше! — приказал он и укатил восвояси.

Когда уже засыпали седьмую яму рыбой, а первые пять так воняли, что на деревне даже собак начало тошнить, на берег пулей выбежал Шишиберидзе. Растопырив руки и как бы заграждая ими доступ к реке, он дико завопил:

— Нэ трогай ему!!! — Бросив свою барашковую шапку оземь, он стал топтать ее так же страстно, как семь дней назад танцевал лезгинку.

Путина была приостановлена до получения из области бочек и соли. Вначале Шишиберидзе звонил в область ежечасно, потом стал звонить ежедневно и постепенно съехал на еженедельное позванивание, а к концу лета и вовсе перестал звонить. В начале зимы его арестовали и за злостный срыв плана рыбопоставки осудили на десять лет.

Вместо Шишиберидзе в район был назначен секретарь райкома Гупаленко, Хведор Исидорович, герой Гражданской войны и взятия Очакова и Перекопа. Как каждый украинец, Гупаленко был неторопливый и хитрый.

— Ось, — говорил он на собрании колхоза «Красные сети», — во-рог народив Шишиберидзе зирвав рыбопоставку, а мы пидиймемо цю штуку на довжну высоту. Ловить, хлопци, вельку и маленьку. Для социализма все пиде!..

И с весны «хлопци» стали ловить «и вельку и маленьку»; улов был, надо сказать, замечательный. Но область, щедрая до посылок такого товара, как руководящие работники, — соли и бочек не присылала. Тонны и тонны рыбы гнили на берегу, а Гупаленко спокойно говорил:

— А вы возьмите гнылу рыбу, звоисте и напишить акта: «Из-за недостатка соли спортилась.» Дайте мени акт, а тым часом ловить и выконуйте плян. Плян — цэ головнэ!

К концу лета колхоз «Красные сети» выполнил улов на 164 процента, но в область не погрузил ни одного пискарика. Обком, прочитав победную реляцию Гупаленко, выразил ему благодарность, а через

несколько дней Гупаленко арестовали. Судили его за порчу сотен тонн рыбы и расстреляли. Не помогла и папка с актами, объясняющими причину порчи продукции.

После Гупаленко в Орешники приехал новый секретарь райкома Умрыхин. Он был из ивановских ткачей, отличался слабостью здоровья и излишней нервозностью. Узнав на месте о печальной судьбе своих предшественников, он утопился, привязав к шее, вместо камня, третий том «Капитала», и сделал это необдуманно и зря, так-как его секретарское тело было последним крупным уловом в сетях орешниковских рыбаков: рыба в реке исчезла совершенно.

После неудачника Умрыхина в Орешниковский район прибыл секретарь райкома Шмаерзон, а вместе с ним прибыл целый обоз, груженный бочками и солью.

— Ну, так как с рыбой? — спросил Шмаерзон, прищурив левый глаз и подвывая на последнем слог слова «рыба».

Когда Шмаерзон узнал, что рыбы совсем нет, то воскликнул:

— Уй! А мне говорили, что у вас сами щуки в руку лезут!

Затем он долго звонил в область, крича в трубку телефона:

— Так издесь рыбы нет, а одни слезы плавают!

По его требованию из области прибыла комиссия. Походив уныло по пустынному берегу, председатель комиссии самолично бросил камень в воду и, посмотрев как расходятся круги, решил, что в Орешниковском районе рыбы нет и никогда не было по случаю хронического и природного безрыбья. Колхозников-рыболовов из колхоза «Красные сети» поделили между двумя другими колхозами, а сам колхоз расформировали. Так и окончилась затея с колхозной рыбной ловлей. Удачника же Шмаерзона посадили только через год, после того как было установлено, что привезенные бочки треснули, а соль, хранившаяся в амбаре с протекавшей крышей, вообще исчезла, впитавшись в землю. Правда, кроме вредительства Шмаерзону, как каждому еврею, ~~пришили еще и троцкизм, а оттого, что фамилия его напоминала~~ рею, пришили еще и троцкизм, — а оттого, что фамилия его напоминала следователю нечто немецкое, его заставили признаться, что он был еще и немецким шпионом. Но это к рыбной ловле не относится.

6. Было бы ошибочно думать, что орешане жили плохо. Одно время, в самом начале коллективизации, люди совсем приуныли, но потом пообвыклись и стали, по выражению деда Евсигнея, «с советской властью в прятки играть». Кругом были необозримые пространства, тайга, озера, где на каждом шагу была пища. Ягоды, грибы, кедровые орехи, — если захочешь, за месяц на два года напасешь. В индивидуальные сети рыбка тоже шла — не так, как раньше, но все же. Дичи было сколько угодно, даже больше ее стало, чем до революции. Тогда при индивидуальном хозяйстве мужики собирались целой деревней и шли разорять гнезда диких уток, гусей и прочей водно-земляной птицы, так-как от нее страдали посевы. Когда хозяйства коллективизировали, то единственно, кто свободно вздохнул, так это — дикая птица. С этого времени она привольно плодилась и опустошала целые поля, не услышав ни разу даже простого окрика: «Киш, проклятая!»

Многие колхозники тайком завели глубоко в тайге собственные поля. Сеяли хлеб и картофель дедовскими способами, но собирали вдоволь и того, и другого. Если и случалось, что они плакались при

районном начальстве на бедные наделы на трудодень, то делали это только для отвода глаз.

В общем, если казак Орех, блуждая в этих местах, ощущал недостаток в горилке, то орешане, используя дары природы, не только не голодали, но и научились тому, чего не умел Орех. Их самогон был значительно лучше по качеству, чем казенная водка, которая, кстати, с расстрелом «всесоюзного самогонщика» Рыкова, не появлялась в этих местах.

Конечно, орешане жили при советской власти значительно беднее, чем до революции, а, главное, стали они всего побаиваться и все делали с оглядкой. Но несмотря на то, что существовали чем Бог пошлет, а от советской власти могли получить только кофе «Здоровье», орешане на судьбу не роптали и совершенно смирились со своим положением, когда узнали о жизни в центральных областях России. Даже больше того. Время от времени в Орешниках черным змеем полз слух, что из Сибири будут высылать в Смоленскую область, и это вызывало еще большее смятение, чем у жителей Центральной России вызывал смятение слух о поголовной высылке в Сибирь.

На этом короткое описание всего, что необходимо пока знать об Орешниках, мы закончим и приступим к следующей главе.

Г Л А В А ІІІ

НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЭРЫ

Население Орешников просыпалось по обыкновению поздно, кряхтя, почесываясь и охая. Время было летнее, полевых работ не было, и жители районного центра, в большинстве своем колхозники, спали так долго, пока это приятное занятие не надоедало или пока спавшему не становилось лень спать. Остальная, неколхозная, часть жителей Орешников волей или неволей принаравливалась к образу жизни колхозников и вставала наравне с ними. Исключением из правил был заведующий магазином «Райпо», который, кажется, и вовсе не просыпался, хотя изредка для разнообразия шел из своей избы в пустой магазин, слегка приоткрыв для ориентировки в пространстве щелочки заспанных глаз и, войдя в магазин, никем не тревожимый, он вновь погружался в безмятежный сон.

Что же касается возглавителей района, с которыми уже частично познакомился читатель, то они жили по особому распорядку: до утра заседали, потом ложились спать, а когда простых смертных клонило на послеобеденный сон, они появлялись то в одном, то в другом конце Орешников и всюду делали указания, щедро рассыпали выговоры и, вообще, совали нос куда следовало и не следовало. Чаще второе.

Часам к восьми утра, после бурного заседания бюро райкома, когда местный дурачек Степа, выполняющий по совместительству другую почетную должность сельского пастуха, уже давно погнал стадо мычащих индивидуальных парнокопытных, Орешники проснулись. Первым на главной и единственной улице деревни появился милиционер Чубчиков. Он был в полной форме, при оружии, но на ногах его вместо сапог были надеты галоши. Чубчиков шел вдоль ряда изб, высоко подняв голову, и чутко нюхал воздух.

Потом из своей хатенки на свет Божий вышел дедушка Евсигней, древний старичек неопределенного возраста, с длиннющей бородой и ясными васильковыми глазами. Посмотрев на небо, дедушка Евсигней степенно перекрестился на то место, где когда-то была церковь, потом зевнул, почесал спину под синей рубашкой навывпуск и, шлепая босыми ногами, поплелся обратно в избу. Но в этот момент он заметил Чубчикова и, оценив по поведению милиционера его намерения, старик сорвался с места и мелкой рысцой побежал через огороды к Мирону Сечкину. Так-как Мирон еще на рассвете закончил гнать самогонку, спрятав аппарат и продукцию в надежном месте, и мили-

ционер Чубчиков вряд ли получил бы от него поллитра на похмелье, то дед Евсигней разбудил самогонщика напрасно. Мирон Сечкин скверно выругал милиционера, деда, всех их родственников и праотцев, но в Орешниках прибавился еще один бодрствующий человек.

Потом по улице прошла толстая баба в красном сарафане и босая. Она гнала хворостинкой перед собой подсвинка и, достигнув площади имени Ленина, привязала подсвинка на длинной веревке к вбитому в землю колу. Подсвинок закрутил штопором хвостик и, довольно похрюкивая, принялся уплетать траву. Ласково потрепав подсвинка по спине и назвав его «миланчик», толстая баба подошла к избе с резными петушками и затарабанила в окно:

— Анют! А, Анют!.. Не пора ли в колхозный свинушник иттить?
— заголосила она громко. Анюта не отвечала.

— Анют!.. Чай, свиньи голодны!

— А, чтоб они поздыхали! — пожелал женский голос из избы.

— Ну, и пушай дохнут, — кротко согласилась толстая баба и поплелась домой, не забыв по дороге погладить «миланчика».

Улица и площадь на минуту опустели и было слышно как где-то на краю деревни залаяла в неурочное время собака. Собаки в Орешниках вели, примерно, такой же образ жизни, как и ответственные руководители района: всю ночь они звонко до хрипоты лаяли, а потом спали до обеда.

Потом на улице появилось сразу два человека: Пупин — заведующий конторой «Заготзерно» и восьмилетний житель деревни — Толик. Пупин шел, склонившись вправо под тяжестью битком набитого портфеля, и что-то жевал на ходу. Толик же гнал перед собой на пастбище грязно-белого гуся и, гордясь своим положением пастуха, чувствовал себя не менее важно, чем гусь. На площади к ним присоединился парикмахер со звонким именем Главнюков. Местные злоязычники говорили, что он незаконно изменил свою фамилию и по сему, во имя справедливости и законности, его и в глаза и за глаза называли настоящей фамилией. Парикмахер к этому привык и нисколько не обижался. Когда кто-нибудь, случалось, окликал его по фамилии Главнюков, он даже не оборачивался, и только после вторичного оклика с употреблением привычного прозвища он поворачивал голову и говорил: «Чаво?»

Главнюков и Пупин сошлись на середине площади, обменялись рукопожатиями, о чем-то коротко потолковали и вместе направились в сторону избы Мирона Сечкина. Затем им по дороге встретился парень в лихо сдвинутой на левое ухо кепке. Они остановились, парикмахер что-то говорил, а Пупин показывал рукой на избу Сечкина. Парень же отрицательно качал головой. Пусть читатель не подумает, что парень в кепке был непьющий. Покачав отрицательно головой, парень самодовольно похлопал себя по оттопыренному карману и этим сразу же успокоил собеседников.

Не успели они разойтись, как на площадь выбежало несколько мальчишек, играя на ходу футбольным мячом.

На приусадебных огородах стали появляться копающиеся фигуры.

Прошло сразу четыре молодухи с пустыми ведрами.

На колхозной ферме дружно замыгчали недоенные коровы.

Райцентр проснулся.

С добрым утром, товарищи орешане!

Пробудившись ото сна, жители Орешников не разглядели в этом ничем неприметном утре наступления новой эры. Не заметили они этого замечательного и редкого события даже после того, как, потолкавшись в очереди, приобрели местную газету «Орешниковская правда». Уже после обеда к греющемуся на солнышке деду Евсигнею подошел свежeweымытый и с еще опухшими от сна глазами Столбышев.

— Ну, как, дедушка, газету читал? — спросил Столбышев.

— Купил газетку. Спасибо, вещь необходимая.

— Ну, как считаешь, вопрос правильно поставлен?

— Правильно! — ответил дедушка Евсигней и мелко заморгал глазами.

— Так дадим стране? — спросил Столбышев.

— Дадим, — ответил дрогнувшим голосом дедушка Евсигней, — как не дать! Дадим, конечно!

Удовлетворившись готовностью деда, секретарь райкома пошел дальше. Оставшись один, старик силился сообразить, что это опять придется отдавать власти. — «Ну, не паразиты ли?» — рассуждал он вслух. — «Значит, опять давать!.. Прорва ненасытная... Не до коровок ли наших добираются? А может и последнюю пшеницу отберут?»

— Аграфена! — позвал он свою старуху. — Аграфенушка, дай-ка мне сегодняшнюю газетку!

— А откуда я тебе ее возьму? Чай, сам знаешь самовар то чем разжигали?!

— А, может, ты сходишь к соседушке, газетку спросишь?

— Так у них же все курящие! Где же там газетке удержаться?

— Пойду я, старая, к Мирону Сечкину, — решил дед Евсигней.

Мирон Сечкин как раз запаривал брагу. Медленно помешивая густую массу в корыте деревянной мешалкой, он держал в зубах огромную самокрутку, свернутую, разумеется, из газетки.

— Беда, Мирон! — заявил, войдя в избу, дед Евсигней. — Коров, паразиты, забирать будут!

Мирон от неожиданности выпустил из рук мешалку и так широко открыл рот, что самокрутка выпала и зашипела в браге.

— Мало им, паразитам, того, — возмущался дед, — что все под чистую ограбили, так теперь еще и последних коровушек им подавай!

— А, чтоб они провалились! — искреннейшим тоном пожелал Мирон. — Да нет же на них, анафемов, гибели! Антихристы грешные!..

— Как бы в Смоленскую область не погнажи? — выразил свое опасение дед. — Труба всем нам там будет! Что им, анафемам, стоит взять да сослать всех в Рассею?

— Да неужто судный час настает? — голосом, полным отчаяния, вопрошал Сечкин. — Да пусть же они, подлецы, нашими коровушками подавятся, лишь бы душу отпустили на покаяние!.. Манька! — решительным тоном закричал он жене. — Манька! Бери корову и веди сдавать!.. Да поторопись первой отдать этим анафемам!.. А будешь отдавать, так скажи, мол, Мирон Сечкин, как сознательный патриот, горячо любящий партию и правительство, добровольно отдает корову на пользу родимой власти!.. Может, хоть это усювестит подлецов, ни

дна им, ни покрывки! А то как загонят в Смоленскую область, беда будет! . .

Когда жена Сечкина, громко голоса, как по покойнику, причитая и вытирая слезы подолом юбки, уже вывела корову из сарая, дед Евсигней почесал затылок и неуверенным тоном заметил Мирону, что, может быть, не коров будут отбирать, а зерно или еще что-нибудь.

— Так чего же ты брешешь? — обозлился Сечкин. — Манька! Веди корову обратно!

— Стар я брехать, — обиделся дед, — сам Столбышев говорил, что отбирать будут. Так и сказал «дадим стране», а не веришь, почитай газетку, там все сказано.

— Манька, ты сегодня газету покупала?

— А что бы ты сегодня курил? — ответила Сечкина еще продолжая всхлипывать.

Мирон достал из кармана скомканные обрывки газеты и принялся тщательно изучать их.

— Так. Значит, в Австралии поголовье кенгуру сократилось, — оповещал он о главном из прочитанного. — В Америке исчезло масло из продажи. . . В Италии макаронный кризис. . .

— Гляди! — перебил его дед Евсигней и с торжественным видом достал из браги вымокший и пожелтевший окурок Мирона. На нем жирным шрифтом было напечатано: «Дадим стране пол. . .» Дальше ничего не было. Цигарка потухла как раз на букве «л».

— Ну, слава Богу, хоть «пол», а не все! — вздохнул с облегчением Сечкин.

— Ну, нет! — возразил дед. — Зря, Мирон, радуешься. Оно всегда так пишется — половину, а на самом деле все заберут. Небось, Столбышев уже поучает Соньку-рябую, чтобы она вышла на собрании да прокричала: отдадим, мол, все! Знаем мы эти половинки! А потом, смотря что они будут забирать. . . Ежели, скажем, потребуют полкоровы. . .

— Ой, Боже ж мой! Кормилица ты наша! — заголосила опять Манька.

— Пойдем, дедушка, поищем газетку: что-ж они, паразиты грешные, забирать-то собрались, — решил Мирон Сечкин.

Первым делом они зашли к Николаю Стрункину.

— Беда, куманек! — заговорил Мирон с порога. — Забирать будут! Говорят паразиты: половину отдай! А как придет к делу, то заграбастуют все, и душа с тебя вон!

— Гляди, как бы не к высылке это было! — взволнованно добавил дед.

Николай Стрункин мгновенно побледнел и лишился языка.

— Газетку бы, куманек, посмотреть. Там все подробно описано, что отбирать будут и с кого по сколько. . .

Стрункин беспомощно оглянулся вокруг и полез под стол. Полазив на корячках толику времени, он насобирал множество мельчайших обрезков газеты. Это была работа его четырехлетнего сынишки. Что-нибудь узнать из этих мелких клочков было делом гиблым. Поэтому все трое направились в избу к Семену Картавину. Семен Картавин, лежа на скамейке, спал, артистически подражая храпом пению соловья.

— Семен! Вставай! Беда! — затормошил его Сечкин.

Картавин на самой высокой ноте изумительной чистоты прервал храп и, как ужаленный, схватился со скамейки.

— Что? Где? Горит? — заговорил он спросонок.

— Хуже, Сеня! Хуже! — прочувственным голосом произнес дед Евсигней.

После долгих расспросов выяснилось, что у Картавина газета была, но старуха мать завернула в нее масло, которое и продала учительнице.

Подхватив Картавина, процессия двинулась к Бугаеву. У Бугаева болела спина и газету он приспособил для согревающего компресса. Все же его, несмотря ни на какие стоны, заставили снять компресс. Но напрасно, так-как от влаги тряпки газета расползлась и превратилась в грязную кашу. Прочсть ничего нельзя было. Охающий и стонущий Бугаев присоединился к искателям газеты, и все двинулись дальше.

— Аль помер кто? — полюбопытствовала повстречавшаяся на дороге молодуха, услышав стоны Бугаева и причитания деда Евсигнея.

— Хуже, девка, хуже! Все помирать будем!.. В газете пишут о высылке всех Орешников в Смоленский край, — авторитетно заявил кто-то из толпы.

— Ох, Господи Иисусе! — на белом, как сметана, и круглом, как каравай, лице молодухи застыло выражение панического испуга.

Когда толпа, предводительствуемая Сечкиным, зашла в поисках газеты уже в Бог весть какой по счету дом, то, наконец, встретился первый человек, который хотя газету и использовал, но все же ее читал и мог рассказать содержание. Он, этот любитель газетного чтения, стал пересказывать из прочитанного и о соревновании шахтеров Кузбасса, и о выполнении плана уборки хлопка в Узбекистане, и, даже почти на память, процитировал отрывки из фельетона на местную тему: «Куда заворачивает Галкин?».

— Ты нам шарики не верти! — набросилась на него толпа. — Куда Галкин заворачивает, нам дела нет! Ты скажи, что в газете было насчет реквизиции всего имущества и высылки?

— Ей Богу ж, атаманы-молодцы, ничего об этом не было, — оправдывался газетный читатель.

— Ври больше! Сами читали начало, да конца не знаем! Вот Мирон Сечкин знает! Что, Миронушка, там стояло?

Мирон вместо ответа протянул под самый нос читателю газеты свой вымазанный в браге окурок.

— Гм, правда ведь! Но это шрифт крупный, значит, из передовицы. А кто же передовицы читает?

В это время на улице послышался истошный крик многих голосов, топот, визг, детский плач. Среди всего этого хаотического шума выделялся истерический женский вопль:

— Православные! Спасайтесь, кто может! С милицией ловят!

Искатели газеты мигом ринулись на улицу и их взору представилась картина, схожая с известным полотном «Переправа французов через Березину». Разница только в том, что здесь не было блестящих киверов, пушек и самой переправы. Остальное было почти такое же хаотическое и полное отчаяния. По улице плотной толпой двигались люди, нагруженные наспех собранным скарбом, гнали сви-

ней, жалобно блеющих овец; надрывно визжали поросята, завязанные в мешки, плакали дети, голосили и причитали бабы и шли хмурые колхозники. А впереди всей толпы эвакуирующихся орешан улепетывала с диким криком босая баба в красном сарафане и за ней тяжело бежал милиционер Чубчиков.

— Спасайся, кто может! — кричал милиционер.

— Господи! Таки высылают! А мы ходим газеты искать! — завопил Мирон Сечкин. — Эх, дали бы мне коня! . . . — воинственно воскликнул он, однако не объясняя, зачем ему конь — для того, чтобы удирать, или для того, чтобы воевать.

В это время милиционер Чубчиков нагнал бабу в красном сарафане и поравнялся с ней. Они бежали, как скаковые лошади, «в голову». Баба, заметив рядом с собой милиционера, с диким визгом повалилась на землю. Чубчиков же, увидев, как баба, словно сноп, брякнулась оземь, истолковал это по-своему и, поддав ходу, с диким криком: «Стреляют!!!» — помчался в направлении опушки тайги, зигзагообразно виляя на ходу.

В эвакуирующейся толпе орешан возглас о том, что стреляют, естественно, породил панику.

— Ложись! — зычно скомандовал Мирон Сечкин. — Женщины и дети — назад ложись! Мужчины — наперед!

Чего хотел достичь этим тактическим маневром Мирон — неизвестно; но здесь уже никто ни на какие команды не обращал внимания. Все панически бежало, спотыкалось, падало, отчаянно кричало. Паника русского отступления по своей бестолковости, неорганизованности и проявляемому страху может сравниться только с русским наступлением, также бестолковым, неорганизованным, но с проявлением дикой смелости.

В самый разгар панического бегства из здания райкома КПСС выбежали, как на пожар, Столбышев и человек десять партийных активистов.

— Товарищи! — закричал он, преграждая дорогу беглецам. — Товарищи! Да опомнитесь же! Наступает новая эра!!!

— Хватит с нас и старой! — кричали орешане, прорываясь через партийную преграду. — Довольно, попили кровушки!!!

— Товарищи! Новая эра! Жизнь забьет ключем! — уговаривал Столбышев, напирая животом на толпу и краснея от натуги.

— А эту новую эру видел? — закричала какая-то баба и сунула ему под самый нос огромную фигу. Столбышев инстинктивно отпрянул от изображения новой эры назад, потерял равновесие, его опрокинули, а за ним и весь партийный заслон был повержен в прах.

Бог его знает, чем бы окончилась вся эта катавасия, если бы в дело не вмешался обыкновенный дурак, который по старой дурацкой традиции призван появляться в самые тяжелые моменты жизни и спасти сотни умных. Орешниковский потомок былинного Иванушки — Степа гнал, навстречу прорвавшейся толпе беглецов, большое стадо коров и запрудил ими всю улицу. Толпа остановилась в нерешительности. Если бы это были коровы колхозные, то, конечно, их бы разогнали чем попало, и дорога бы расчистилась. Но это были собственные, индивидуальные коровы колхозников и разгонять их ударами и пинками было

не положено. Кроме того, вид частной собственности смягчает нрав человека.

— Манька, гляди... наша «Красавичка» идет! — с умилением заметила какая-то женщина.

— А вот и наша «Серенькая»!..

Коровье наступление продолжалось. Животные шли безостановочно, позвякивая колокольчиками и с тупым видом работая челюстями.

— Разойдись по домам! — закричал Степа-дурачек. — Разойдись! Ты куда корову тащишь?!

— Так это же моя коровка!

— Твоя будет, когда домой придет, а пока в стаде — она моя! — резонно ответил Степа. — Разойдись! На улице коров не выдаю! А ты чего, дубина, лежишь-то? — ласково обратился он к лежащему ниц Столбышеву. — «Вставай, проклятьем заклейменный», — неожиданно громко запел Степа, явно доказывая этим, что у него в голове не все в порядке.

ГЛАВА IV

ДАДИМ СТРАНЕ ПОЛНОКРОВНОГО ВОРОБЬЯ!

После того, как Степа-дурачек остановил паническое бегство орешан, они несколько опомнились, пришли в себя и, смешавшись с методически наступающим стадом, пошли в коровьем темпе туда, куда повели их коровы. Коровы же, естественно, пошли по домам. А дома работы всегда хватает. Коровы недоенные смотрят на хозяев с недоумением, мычат: — чего, мол, не доишь? Воды принести надо, детишки голодные; впопыхах, как на пожар, собрали вещички для бегства. — Что? Где? Куда девалось?

Так и провозились до темноты, забыв о причинах паники.

Уже в темноте собрались орешане на завалинках и стали анализировать прошедшие события.

— И чего только бабы не натворят? — сокрушался дед Евсигней, громкими ударами хлопая себя по затылку. Это был не обряд самобичевания, а просто дед бил назойливых комаров. — Да разве же можно верить бабам? — продолжал он, — подумать только, какую панику учинили!.. А с чего, спрашивается? Вот в газетке пишется: «Дадим стране полнокровного воробья». Ну, что же с этого? Коли надо, так дадим!

— Новая эра, знать, наступает, как пишет газетка, коли уж за воробья принялись, — вставил Мирон Сечкин.

— А, может и новая! — согласился дед. — В Москве виднее, Москва ближе стоит до Бога! А мы будем воробушек потихоньку ловить, да поставлять, лишь бы нас не трогали... Вот и все мое разумение... Воробья бери, а корову не трожь!

И все были с суждением деда согласны и везде на каждой завалинке рассуждали так же. Может быть, в другое время задание ловить воробьев вызвало бы смех у орешан. Весьма возможно, что передовая из «Орешниковской правды» в другой обстановке породила бы недоумение, ибо в ней черным по белому было написано, что наступает новая эра, в которой воробей сыграет роль самого полезного существа. Но сейчас, после всех паник и треволнений, орешане были рады, что их не трогают, а остальное им было все равно. Новая эра? — Пусть будет новая эра! Ловить воробьев? — Пусть будет по-вашему! Они были готовы на все. Вопрос: всегда ли?

Утром, когда страх исчез совсем, пыл ловить воробьев улегся. Колхозные бригадиры, мотаясь по деревне как каторжники, уже не смогли найти ни одного человека, имеющего время для выполнения

правительственного задания. И когда бригадир, пытаясь усювестить отказывающегося, напоминал ему, как он еще вечером обещал наловить целую тьму пернатых, тот невозмутимо пожимал плечами и влучшем случае говорил: — «Еще успеем!» Или чаще всего отказывался, как апостол Петр: «Я? Я? Обещал наловить сколько хочешь? Да то же не я был, а Григорий Хоромин!»

А Григорий Хоромин в свою очередь удивленно пучил глаза на бригадира: «Да что ты пьян вчера был, что ли? Как я мог обещать наловить воробьев, если у меня угол избы покосился и его как раз сегодня починять собирался? Ищи у кого делов нет, а я сегодня занятой!»

К обеду бригадиры, добежавшись до одурения по деревне и наругавшись до хрипоты с колхозниками, разбрелись по домам, не нарядив ни одного человека на ловлю.

Не чувствуя никаких притеснений и гонений, не имея повода к осознанию своей государственной ценности, воробьи вели себя так же беспечно, как это повелось у них со времен заселения ими Орешников. Они купались в уличной пыли, воровали у кур корм, дрались и совершали лихие налеты на кучи конского навоза. В обеденное время они собрались по обыкновению на излюбленном месте, на крыше райкома. Помитинговав немного, они стаяй с фырканьем понесли на поле поспевающей пшеницы и занялись расхищением социалистической собственности. Обожравшись государственного зерна, один воробей, видимо из озорства, сел на подоконник столбышевского окна и заглянул во внутрь дома. Столбышев, который только что проснулся и, лежа на кровати, мысленно подсчитывал, сколько воробьев уже должно быть поймано и на сколько процентов план воробьепопоставок мог быть перевыполнен, с удивлением произнес:

— А тебя еще не поймали? Счастличик!

Воробей чирикнул и улетел, даже и не подумав о печальной перспективе. Легкомысленная все-таки птица!

Часикам этак к двум пополудни Столбышев бодро зашел в свой райкомовский кабинет и потребовал сводки колхозов по выполнению воробьепопоставок. Во всех представленных ему технической секретаршей официальных цидулях значились довольно низкие цифры выполнения плана. Столбышев поскреб затылок, заглянул в календарь и, решив, что времени для досрочного выполнения воробьепопоставок еще достаточно, принялся за просмотр свежего номера «Орешниковской правды». Газета в самых оптимистических тонах извещала о воодушевлении колхозных масс, вызванном мудрым решением партии и правительства «поднять воробья на должную высоту». Далее в газете писалось «О замечательном патриотическом движении по перевыполнению плана воробьепопоставок». Правда, имен «двигателей» в статье не указывалось, а просто говорилось: «В большинстве колхозов Орешниковского района развернулось социалистическое соревнование за досрочное выполнение и перевыполнение мудрого задания партии и правительства по воробьепопоставкам. Почин передовиков-воробьеловов был подхвачен лучшими колхозниками...» и так далее, и так далее.

Не задумываясь о том, откуда могли уже появиться «передовики-воробьеловы», Столбышев подчеркнул статью красным карандашом и размашисто написал: «Правильно. Столбышев». Оставшись газетой доволен, Столбышев посмотрел на часы и приказал технической сек-

ретарше созвать актив районной организации КПСС на совещание. Еще перед началом совещания Столбышев через окно кабинета заметил нечто, что наполнило его грудь тихой радостью и уверенностью в успехе дела: через площадь имени Ленина шел, и весьма нетвердой походкой, Пупин, заведующий райконторой заготзерно. Два воробья, сидевшие до этого смиренно на памятнике Ленина, один — на лысине у гипсового Ильича, другой — на указательном пальце вытянутой вперед правой руки, при виде приближающегося Пупина с панической поспешностью улетели.

«Ага! — с радостью решил Столбышев. — Замечательное движение началось!» И он не ошибся. Замечательное движение началось часа полтора до этого и окончилось перед самой темнотой. Возглавлял его Юра Корольков, двенадцатилетний орешанин, славившийся в деревне, кроме всех своих проделок, еще исключительной точностью стрельбы из рогатки. В движении принимали участие все орешниковские мальчишки в возрасте от четырех лет и старше. Даже дед Евсигней и тот запустил камнем в воробья и был очень опечален тем, что промазал.

— Камнем, конечно, его не подшибешь. Другое дело — рогатка, — оправдывался он. — Гляди, как Юрка сшибает... О!.. Есть, паразит!

Тем временем совещание началось. На повестке дня стоял вопрос принципиального значения: каковы залежи воробьев в орешниковском районе? Вопрос труднорешимый, так как в районе было взято все на учет, «а воробья-то и проглядели!» — упрекал Столбышев активистов таким тоном, будто он им уже несколько лет твердил об этом, а они не выполнили его указаний.

Пока на совещании шли теоретические подсчеты, практические «залежи воробья» шли на убыль. Пернатые метались в поисках спасения, но везде их настигали меткие камни из рогаток орешниковских ребят. Такого «Варфоломеевского дня» не помнили даже старые и видевшие все виды воробьи. Каково же было еще необстрелянной молодежи, не побывавшей в лапах кота и не хлебнувшей ни одной из обширных разновидностей воробьиного горюшка? Они то, эти самые ценные представители рода, гибли по своей неопытности, чем и приводили в ужас общипанных, с рубцами на теле, стреляных воробьев, опасавшихся за ценность будущих поколений.

Бессмысленное истребление птиц было приостановлено энергичным вмешательством самого Столбышева. Хотя он потом и утверждал, что присущее каждому коммунисту чувство бдительности, как будильник прозвонило у него глубоко в сердце после первого же нападения на воробьев, но на самом деле это было не так. Ребята безнаказанно и ни кем не останавливаемые били «основу новой эры», как угодно: и на лету из засады и даже в укрытии. За пять часов охоты они сократили количество орешниковского воробья почти наполовину. Уже с наступлением темноты, когда уцелевшие воробьи, попрятавшись по гнездам, в ожидании страшного утра соборовались, Степа по своему дурацкому счастью заметил воробья на подоконнике столбышевского кабинета, запустил в него камень и, опять таки по тому же счастью, угодил им в окно. Звон разбитых стекол и явился звоном того коммунистического будильника бдительности, которым хвалился потом Столбышев. Тут-то Столбышев и ринулся, аки лев, на спасение воробья и прикрыл его своей грудью.

— Диверсант! — закричал он таким диким голосом, что воробей, бывший до этого раненым, мгновенно окошел от испуга. — Как смеешь убивать государственную птицу?

Так-как Столбышев только перед этим на совещании прервал свою речь на словах «государственная птица», то по цепной связанности слов в его речах, о которой будет рассказано особо, он после «государственная птица» машинально сказал — «полезная в построении нового общества», а так-как новая произнесенная фраза была цепью связана с другой, а другая — с третьей, то Столбышев незаметно для себя произнес речь-пятиминутку, от слушания которой и сбежал Степа, а отнюдь не от грозного вида секретаря райкома. Большим усилием воли Столбышев затормозил свою говорильную машину и только тогда заметил, по валявшимся всюду трупам, какой непоправимый ущерб был нанесен строительству нового общества. Потрясенный до глубины души печальным зрелищем, Столбышев, точь-в-точь перехватив мысли старых воробьев, подумал о ценности будущих поколений и пришел в ярость:

— Начальника районной милиции ко мне! Вызвать прокурора! Весь актив — на защиту воробья! — скомандовал он и заперся в опустевшем кабинете.

Всю ночь он заседал с вызванными должностными лицами. Активисты же, пройдя по деревне и запретив под страхом уголовного преследования уничтожать птиц, застряли у Мирона Сечкина, который всегда в эту пору гнал самогон. Поздно ночью один из активистов, комсорг колхоза «Изобилие», в довольно нетрезвом состоянии полез на сухое дерево посмотреть, уцелели ли там воробьи в гнезде, и, свалившись, сломал ногу. Это была первая жертва новой эры. Ничего не поделаешь, построение эры без жертв не обходится.

ГЛАВА V

ДЕЛА ИДУТ — КОНТОРА ПИШЕТ

На следующее утро редактор Мостовой по заданию Столбьшева разразился в «Орешниковской правде» гневной передовой: «Лицом к воробью!» Мостовой явно не считался с мнением самих птиц, ибо после вчерашней потасовки они предпочитали видеть человеческие спины вместо лиц. Но кто в Советском Союзе считается с мнением принадлежащего государству движимого и недвижимого имущества?

Огосударствленный воробей должен быть счастлив, что печатный орган власти выступил в его защиту, что он редко делал в отношении другого государственного движимого — человека.

Будь воробей столько времени советским гражданином, как человек, он, наверное бы, от такого внимания расчувствовался и публично заявил, что, в знак благодарности правительству, он готов себя поставлять сверх плана в неограниченных количествах. Но воробьи не кричали ни «ура», ни «спасибо». Будучи умной птицей, они сидели в гнездах и не показывались на свет Божий. Тем временем в «Орешниковской правде» писалось: «Бережное отношение к воробью — это забота о нашем светлом будущем. Но на пути к светлому будущему нам всегда будут вредить враги социализма и прогресса. Вчера некоторые враждебные элементы учинили дикую расправу над государственной птицей. . .»

Далее в статье громились «враждебные элементы», «враги социализма и прогресса», упоминалось о провокациях Уоллстрита, но имен преступников опубликовано не было, т. к. газета версталась ночью, а следствие по делу воробьеубийства началось только утром.

Всего по этому делу было арестовано четыре участника: три несовершеннолетних — двенадцатилетний Юра, восьмилетний Толик и его сверстник Вова, и один совершеннолетний убийца — Степа.

Все арестованные сидели в кабинете начальника милиции, лейтенанта Взятникова. Восьмилетние Толик и Вова громко ревели. Несовершеннолетний Юра дерзко смотрел на лейтенанта, а совершеннолетний Степа ковырял в носу и с открытым ртом рассматривал немигающим взором потолок. Сзади государственных преступников стоял милиционер Чубчиков. Он переминался с ноги на ногу или, вернее, с галоши на галошу. По унылому выражению его лица было видно, что официальная обстановка его тяготит. Чубчиков был человеком оперативной службы: он всеми фибрами своей милиционерской души рвался на простор — туда, поближе к избе Мирона Сечкина.

— Не реветь! — скомандовал Взятников, закончив писать на листе заголовок: «Протокол следствия по делу хищнического уничтожения запасов воробья». Подумав немного, лейтенант милиции зачеркнул слово «запасов» и каллиграфическим почерком надписал: «поголовья».

— Не реветь! — еще раз рявкнул Взятников, и Толик с Вовой, словно заслышав команду, набрали побольше воздуха в легкие и завывли сиренами.

— О, Боже ж мой!.. Убивают!.. — подхватило за дверьми трио бабских голосов. В кабинет стали ломиться.

— Чубчиков, держи! — скомандовал Взятников, но держать было уже поздно. Под настойчивыми ударами мощных форм прекрасного пола двери рухнули. Чубчиков, как муха, был прижат обширным задним местом одной из женщин к стене и были видны только его руки и ноги, болтающиеся беспомощно в пространстве. Мамаши вцепились в своих дитятей со всей яростью, дарованной им инстинктом защиты потомства. Толик и Вова, почувствовав помощь, заревели еще пуще, а Юра сконфузился и стал вырываться из объятий матери. В его планы никак не входило вмешательство родителей до того, пока он еще не успел нагрубить Взятникову. Степа же, выручать которого никто не пришел, т. к. он был круглый сирота и дитя мирское, почувствовав материнскую защиту, хотя бы косвенно относившуюся и к нему, вдруг заплакал, вытирая огромным кулачищем обильные слезы.

— Не плачь, Степушка, — успокаивала его бойкая толина родительница, — и тебя вырвем у супостатов!

— У-у-у! — как мамонт заревел Степа, заглушая все другие звуки.

Если до этого сквозь крики женщин и плач детей слова Взятникова были еле-еле слышны, то теперь было только видно, как он беззвучно открывал рот и таращил глаза от натуги. Взятников сообразил, что вести при таких условиях следствие нельзя, а потому в интересах дела и службы вытолкал ревущего Степу на улицу. Как только Степа очутился на свободе, он мгновенно умолк и, показав язык своему вынужденному освободителю, убежал. В это время в кабинет начальника милиции вошел Столбышев.

— Гм! Того этого... сознаются?

— Ирод ты проклятый! Бесстыжие глаза твои! — сразу же обрушилась на него толина мама. — Детей малых начинаете арестовывать!.. Из-за поганых воробьев!.. Совести и креста на вас нету!..

— Товарищ Взятников, запишите в протокол оскорбления, нанесенные, так сказать, представителю власти и, того этого, государственной, так сказать, птице!..

— Пиши!.. Пиши!.. — ехидным тоном перебила его толина мама. — Запиши еще, что Столбышев приказал мне отвезти из колхозного амбара мешок пшеницы полюбовнице Райке-секретарше и приказал записать ту пшеницу, как скормленную на кур.

— Гм, того этого, я попрошу без личностей!..

— А еще можешь записать!..

— Отставить записки! — возмутился Столбышев. — За что людей арестовали? И не стыдно тебе, Взятников, того этого, арестовывать малолетних, не понимающих, что они творили? Они, так сказать, жертвы провокации врага. Надо быть справедливым, так сказать!

Флюгер настроений Столбышева так быстро повернулся на сто восемьдесят градусов, что даже опытный Взятников и то оторопел. Он хотел уже было сказать, что он арестовывал по прямым указаниям Столбышева, но, заметив его усиленное подмигивание, отпустил арестованных, объявив им официально, что они признаны следствием невиновными.

— Ты, Взятников, пойми, того этого, — объяснял ему потом Столбышев, — дело с воробьепостваками, это — небесная, так сказать, благодать. На этом можно, того этого, карьеру сделать! Я в область специально ничего не докладывал о задании из Москвы. Узнают — и сразу примажутся к нашей славе, а если еще, того этого, попадут в их руки протоколы с разными, так сказать, штучками, то нас с тобой сразу же выпрут, и не видать нам с тобой ни орденов, ни славы, как своих ушей.

— Так вы же сами говорили, что на деле с воробьеубийцами можно сделать карьеру?!

— Что упало, то пропало. Не гонись, того этого, за двумя зайцами! — поучал Столбышев. — С тебя хватит и того, что я сочиню рапорт о бдительности органов милиции, сохранивших все поголовье воробья в Орешниковском районе от возможных уничтожений врагом. А кто в Москве знает, сколько у нас, так сказать, было воробьев в наличии? Понял?

— Понял!

— То-то ж! Дела идут, контора, так сказать, пишет!

Контора действительно писала.

Семена бюрократизма носятся в атмосфере с тех пор, как пещерный человек камнем на камне выбил первый иероглиф. Витая над миром, семена бюрократизма падают на различную почву и везде дают всходы. На почве частной собственности семена бюрократизма чахнут. Для их успешного роста нужны удобрения в виде денег, а реакционеры-капиталисты по своей ужасной привычке, замеченной Марксом, любят накапливать капитал, но не любят его зря выбрасывать. На почве государственных учреждений семена бюрократизма прорастают хорошо и даже дают плоды: волокиту, путаницу, наплевательское отношение бюрократа к кормильцу-налогоплательщику и прочее, что сильно укорачивает жизнь налогоплательщика, оставляя ему в утешение право на злорадство: «умру и не буду платить на содержание бюрократии!» Так происходит в каждом нормальном государстве.

Но Советский Союз, как говорят сами коммунисты, «государство нового типа», и там почва для бюрократизма совершенно особенная и неповторимая. В Советском Союзе правительство планирует, контролирует, направляет и руководит всем: работой железных дорог и общественных бань с семейными номерами; деятельностью любительских балетных кружков и посевами кукурузы по всей стране, вплоть до Северного Полюса, где ею можно успешно вскармливать белых медведей: постройкой гигантских заводов и продажей зельтерской воды стаканами; творчеством писателя и работой чистильщика сапог; производством атомных бомб, детских свистулес «Уйди-уйди» и дамских подвязок с розовыми бантиками. Все это находится в руках государства.

Целая армия бюрократов день и ночь пишет распоряжения,

сочиняет приказы. ежедневно отправляет из Москвы во все концы огромной страны сотни тонн официальных бумаг и в ответ получает тысячи тонн сводок, отчетов, запросов и прочих документов — плодов неусыпного творчества бюрократического гения. Из Москвы ежедневно отправляются во все концы страны десятки тысяч ревизоров, контролеров, уполномоченных, особоуполномоченных, а навстречу им со всех концов страны едут сотни тысяч бюрократов с отчетами, просьбами, докладами, выяснениями и прочее. Советский Союз представляет собой огромные джунгли бюрократии, где день и ночь трещат цикадами машинистки, носятся мотыльки-курьеры, рычаг пантерами начальники, путники блуждают, пробираясь через хаотическое нагромождение, и каждый, кто сильнее, пожирает более слабых.

Таким образом, попав на почву советского государства, семена бюрократизма, наконец, обрели родную стихию и дают грандиозные всходы.

Даже в Орешниках, в дикой глуши, бюрократизм разросся до невероятных размеров. Если при царском режиме в Орешниках было всего четыре государственных, скучающих от безделья, чиновника, то теперь их стало сто двадцать шесть, тяжело работающих и никогда не справляющихся с работой бюрократических каторжников.

Когда Столбышев вернулся от лейтенанта милиции Взятникова, в райкоме кипела работа. Каждый занимался своим делом: строчил, переписывал, клеивал конверты; сновали усталые курьеры, щелкали счеты бухгалтеров, отсчитывая попусту растроченные государственные деньги, стоял шум, поразительно напоминающий собой неповторимое произведение пролетарского композитора Безмылина — «Симфонию Литейного Цеха».

Но больше всех трудился второй секретарь райкома Маланин. Изредка поглядывая на потолок и черпая с него вдохновение и необходимые познания, он писал инструкцию «Как следует организовать ловлю воробья». Столбышев заглянул через его плечо в ворох бумаг и увидел, что пишется уже 420-й пункт инструкции: «Воробья легче поймать за голову, чем за хвост». Утвердив эту еще никем в истории не записанную на бумаге истину, Маланин без всякой остановки перешел к пункту 421:

«Не поймав за хвост, надо выжидать, пока воробей сядет на:

- а. куст,
- б. дерево,
- в. крышу здания, амбара, строения,
- г. скирду соломы, сена.»

Тут Маланин на секунду остановился и задумчиво посмотрел на потолок.

— Навозную кучу, — подсказал ему шепотом Столбышев.

— Правильно, — обрадовался Маланин и уже без остановки начал строчить:

- д. навозную кучу,
- е. забор или плетень,
- ж. брошенный по бесхозяйственности сельскохозяйственный инвентарь и проч. проч.

Потом надо к воробью подкрасться на цыпочках, — строчил Маланин, — дыша при этом исключительно через нос и подходя с под-

ветренной стороны. Достигнув воробья, ловец должен тщательно проверить оснащение, рассчитать расстояние, сжать мышцы рук и ног и резким броском кинуться на воробья. При этом ловец должен помнить положение, освещенное в пункте 420 данной инструкции.»

Маланин поставил точку и, сияя, спросил:

— Ну, как инструкция?

— Хорошая инструкция, того этого, детальная. Так и надо. В случае чего, так сказать, организационных неполадок, у нас есть оправдательный документ. Райком, так сказать, все предусмотрел, виноваты низы. Ты, того этого, товарищ Маланин, трудись. Партия и правительство не забудут! . .

Столбышев дружески похлопал его по плечу и еще раз хозяйским оком окинув весь муравейник райкома двинулся в свой кабинет. Там, никем не тревожимый, он написал под копирку двенадцать, по количеству колхозов в районе, коротких и энергичных записок: «Не подкачай. Помни, что все должно быть выполнено в сроки. Не выполнишь, будешь отвечать. Нажимай на людей, тереби, выжимай из них последнее. Надеюсь на тебя. Столбышев.»

Это был классический и много раз оправдавший себя стиль руководства Столбышева. Столбышев ясно сознавал, что никто из руководящих работников не читал всей тучи бумаг, направляемых им из райкома. У них просто не хватало времени на чтение. Поэтому короткие записки Столбышева являлись руководящим документом, который читали в районе и потом, в зависимости от обстановки и времени года, выполняли его указания. Если председатель колхоза получал столбышевскую записку весной, то «не подкачай» касалось сева. Если это было осенью, то «нажимай» касалось уборочной. Если это было в неопределенное время года и председатель колхоза не знал, к чему относится «выжимай из них последнее», то он просто вызывал к себе кого-нибудь из старых людей и спрашивал, что в эту пору делали когда-то, а потом так и поступал.

Окончив писать записки, Столбышев взялся уже было за телефонную трубку, чтобы начать обзванивание всех двенадцати колхозов района: — Гальо! Так ты ж не подкачай, нажимай! . . — но в это время в кабинет вошла техническая секретарша Рая. Вошла и остановилась, потупив взор. На щеках Столбышева заиграл румянец.

Кудрявый Амур, от скуки болтаясь по свету, заглядывает куда попало: в замок сказочной принцессы и в ночлежку босяков; в пальмовую хижину жителя Африки и в снежную юрту эскимоса; собственный, но еще не выплаченный, дом служащего и в виллу директора банка, которому фактически и принадлежит собственный дом служащего. И везде Амур, прищурив глаза, целится и пускает разящие стрелы, которые попадают в сердце, но часто выходят боком. Будучи беспартийным, Амур осмеливается проникать не только в мелкие райкомы, но даже в запретные для многих партийцев ЦК партии и занимается там своим древним ремеслом. Побывал Амур и в Орешниковском райкоме. Поэтому и стояла Рая, потупив взор, в кабинете у Столбышева, а он, ответственный партийный любовник, смотрел на нее взглядом полным ласки, чувства собственника, восхищения и подозрения: верна ли?

Язык любви везде одинаков по содержанию, но среда накладывает

отпечаток на его форму. Поэтому разговор между Раей и Столбышевым звучал так:

Она: — Товарищ Столбышев!

Он: — По какому, того этого, вопросу?

Она: — Вчера после заседания бюро райкома. . .

Он: — Поконкретнее, так сказать, ближе к сути вопроса. . .

Она: — Вы меня не любите! — (руки теребят копию отчетности по воробьепоставкам, голова опущена).

Он (с самодовольной улыбкой): — Выдвинутые вами подозрения не имеют под собой конкретной почвы и, так сказать, вызваны организационными неполадками. Я люблю тебя!

Она: — Но, ведь, ты, Федя, вчера ночевал у жены! — (руки комкают копию отчетности по воробьепоставкам, негодование во взоре).

Он (догадавшись, в чем дело): — А-а-а! Того этого, это необоснованные претензии. На данном этапе вопрос об индивидуальных взаимоотношениях у меня с женой, так сказать, снят с повестки дня. Я тебя, того этого, люблю!

Она (с облегчением): — Значит, не аннулировал своих чувств, значит, любишь?

Он (с восхищением): — Как ты можешь, того этого, ставить так вопрос? Бесспорно люблю!

Она (с любовью во взоре): — А я уже думала написать на тебя донос в обком.

Он (с внезапно нахлынувшей страстью): — Значит, сильно любишь!

Амур заглянул в кабинет Столбышева и удовлетворенный пошел слоняться по Орешникам.

ГЛАВА VI

УВЕРТЮРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Со времени получения из Москвы правительственной телеграммы прошло десять дней, а жизнь в Орешниках текла по-прежнему. «Орешниковская правда», как в танце «Барыня», все время повышая тон и ритм, писала о пользе воробьев и о замечательных успехах передовиков-воробьевелов. Ее все покупали, но никто не читал. Столбышев спал у технической секретарши Раи, а жена его, огромная особа, напоминающая фигурой и походкой откормленного на окорока медведя, ходила по Орешникам и злорадствовала:

— Мой скоро в Москву поедет работать. О нем вся Москва знает. И не видать тогда его Райке. В Москве руководящим работникам по наряду из ЦК балерин выписывают.

Маланин писал уже третью по счету инструкцию по воробьевеловству и втайне льстил себя надеждой достигнуть высшего положения и, наконец, получить кабинет с обитыми пробкой стенами, которые в Советском Союзе доступны только важным правительственным чиновникам и буйно помещанным.

Дед Евсигней, получив от внука-полковника из Ростова посылку с несколькими банками «консервированных щей» производства «Ростглавконсерв» и добавив в щи еще несколько картошек, головку капусты, несколько бураков и головку лука, угощал этим жидким варевом всех, кто приходил к нему в гости.

И, наконец, нежданно-негаданно в пустующий издавна районный магазин прибыли эмалированные унитазы с наклеенной на них этикеткой: «Хранить в сухом месте». Жители потолкались в очереди у магазина, но никто унитазов не купил, так как в Орешниках не было ни канализации, ни водопровода.

Вот, пожалуй, и все новости.

И тут читатель может обидеться на автора. Он вправе задать вопрос: а где же ловля воробьев, где передовики-воробьевеловы, почему автор до сих пор не описал ни одного пойманного воробья и его переживаний, почему автор уклоняется от главной задачи книги?

И в ответ на это автор может только развести руками: да, это верно, что «Орешниковская правда» пишет о передовиках-воробьевеловах; верно и то, что дважды в день в райком прибывают отчеты из колхозов, в которых черным по белому, в определенной форме, составленной Маланиным, значится количество пойманных пернатых; верно и то, что цифры эти суммируются в райкоме и достигли уже внуши-

тельных размеров. Но, будучи объективным, описать хоть одного пойманного воробья автор не в состоянии. Он хочет, но он не может, потому что, несмотря ни на какие отчеты, цифры и газетные статьи, в Орешниковском районе до сих пор не было поймано ни единого воробья.

Так уже устроена коммунистическая система, что каждое мероприятие начинается с бурных, в ура-тонах, отчетов и сводок о достижениях, в то время, когда никто еще ничего не сделал. В Советском Союзе все так приучены, что начальная шумиха никем всерьез не принимается. Все знают, что это только увертюра и до поднятия занавеса еще далеко. Всякое действие начинается только после того, как посыпятся первые выговоры за срыв мероприятия и первые срывчики переселятся из кабинетов учреждений в тюремные камеры. Может быть, кто-нибудь из читателей сделает из этого заключение не совсем лестное для русского народа и его работоспособности, может быть он скажет: «И правильно, что коммунисты из них душу вытряхивают! Им нужна палка!» Такое заключение будет ошибочным, ибо весь вопрос тут не в желании или нежелании работать, а в жизненном опыте. Жизненный опыт подсказывает советскому гражданину не лезть первому выполнять правительственные задания, о каких бы успехах этого мероприятия не писалось, потому что часто крик «ура» правительство обрывало на полутоне и уже молча выискивало тех, кто более всего преуспел, и на них же валило всю вину: вы деньги растравили на глупое предприятие... вы раздули его до невероятных размеров... вы... — в лучшем случае: двадцать пять лет тюрьмы. Поэтому сам опыт подсказывает, что лучше писать сводки и ничего не делать, так как, в случае чего, бумажку можно ликвидировать бумажкой, лишь бы за ней не было реальных дел.

Итак увертюра продолжалась. Как в каждой увертюре под конец должен быть аккорд, а потом уже поднятие занавеса, так и в увертюре коммунистической шумихи существует свой аккорд — большое общее собрание, после чего уже сыпятся выговоры и производятся аресты. то-есть занавес подымается.

Верный этой традиции, Столбышев назначил на следующий день, одиннадцатый по счету со дня получения телеграммы, большое собрание партийного актива района с беспартийными колхозниками. Собрание должно было состояться в районном Доме культуры «С бубенцами» или, если говорить официальным языком, в районном Доме культуры «имени министра внутренних дел». Странное это расхождение в официальном и неофициальном названии Дома культуры происходит потому, что тут переплелось старое с новым. До революции на этом здании была вывеска:

«Питейное заведение «С бубенцами» купца первой гильдии Кишкина.

Продажа спиртного на разлив и вынос.»

После революции купца первой гильдии Кишкина органы ВЧК, на всякий случай, расстреляли и здание долго пустовало. В середине тридцатых годов на нем появилась вывеска:

«Районный Дом культуры им. наркома внутренних дел ЯГОДЫ.»

Когда Ягоду расстреляли, на здании появилась вывеска:

«Районный Дом культуры им. наркома внутренних дел ЕЖОВА.»

Когда Ежова арестовали и он бесследно исчез, на здании появилась вывеска:

«Районный Дом культуры им. наркома внутренних дел Берия.»

Потом ее заменили на еще большую вывеску:

«Районный Дом культуры им. министра внутренних дел БЕРИЯ.»

В пятьдесят третьем году Столбышев, вызвав по тревоге пожарную команду, на галопе подлетел к дому и, взобравшись на пожарную лестницу, спешно замазал краской имя Берия, но имени министра не вписал, ссылаясь на отсутствие краски, что, впрочем, для орешан не имело никакого значения. Не чуждаясь нового, они, вместо «Питейное заведение», говорили «Дом культуры» и, не забывая старого по-прежнему говорили «С бубенцами». Правда, тут, в сохранении традиции названия, играло большую роль само здание, или, вернее, материал, из которого оно было сделано. За время существования «Питейного заведения» доски здания так напитались спиртным духом, что даже почти сорок лет спустя, войдя в Дом культуры с закрытыми глазами и принюхавшись, можно было подумать, что ты очутился в спиртной бочке. За это в Орешниках Дом культуры «С бубенцами» уважали и никогда он не был пуст. Оттуда постоянно доносилось разноголосое пение, переборы гармошки, топот каблуков и через равные интервалы в полчаса: «Ну, попробуй ударь!.. Бей, говорю! Эх!.. Трах!.. Бах!..» Потом опять песни.

Была в Доме культуры и литература: несколько общипанных на закурки брошюр с очередными постановлениями ЦК. Читались там и лекции, чаще всего о жизни американских безработных с демонстрацией картинок из жизни нацистских кацетов. Демонстрировали там давно виденные всеми кинокартины, смотреть которые приходили зрители, главным образом, из спортивного интереса: подождать пока оборвется кинолента, а потом дружно крикнуть кинотехнику: «Сапожник!» И, разумеется, в Доме культуры проводились все официальные собрания и конференции.

Так было и на этот раз.

— Ну, пойдём к «Бубенцам», — заявил дед Евсигней Мирону Сечкину, натягивая свой рваный картуз. — Посмотрим, что паразиты говорить будут.

— Небось, Соньку-рябую уже накачали на «выступление с места»?

— Понятное дело, накачали! — согласился дед, и оба тронулись.

У Дома культуры уже толпился народ. У входа стоял милиционер Чубчиков и впускал всех, у кого был пригласительный билет, но никого не выпускал обратно. Когда здание заполнилось, Чубчиков закрыл дверь, подпер ее снаружи большим колом и сел на ступеньках отдыхать. И сразу же изнутри раздался стук:

— Пусти! По нужде надо!

— После собрания, — меланхолично ответил Чубчиков, закуривая и не делая никаких попыток встать.

— Пусти! — уже плачущим голосом стали просить за дверью.

— Потерпишь!

— Уй!.. Пусти, Христа ради! Честное слово, вернусь обратно!

— Знаем мы это «вернусь»! Приказ — никого не выпускать!

По обыкновению, дипломатия через закрытую дверь, начавшаяся

еще до официального открытия собрания, так до конца собрания и не кончилась.

А тем временем собрание разворачивалось, как по нотам.

Вначале на сцену вышел председатель райисполкома Семчук и, достав из кармана список, на уголке которого красным карандашом была нанесена резолюция: «Одобряю. Столбышев», от имени всего собрания предложил выбрать десять человек в президиум.

— Кто за?! — спросил Семчук, подымая вверх список, и сразу же резюмировал: — единогласно!

Все это произошло так быстро, что некоторые даже не успели по команде «кто за?» поднять руки, но этого отступления от демократии никто по привычке не заметил. Когда члены президиума разместились около покрытого красной материей стола, Столбышев, заняв место в середине, поднялся и, напустив меда на выражение лица своего, заявил:

— Поступило предложение (он умолчал от кого) избрать почетный президиум в составе товарищей. . . — и он начал перечислять все имена живых и не вычеркнутых из коммунистических святцев вождей. После каждого имени он сам аплодировал и тем давал команду для аплодисментов собранию.

— Разрешите ваши аплодисменты считать за единогласное голосование! — заключил под конец Столбышев и с удвоенной энергией нажал на свои мозолистые ладони.

Потом Семчук быстро подменил Столбышева и объявил, что собрание открыто и что первое слово предоставляется Столбышеву и сам же аплодисментами приветствовал свое объявление. Столбышев откашлялся, медленной походкой вышел на трибуну, налил из графина воды в стакан и также медленно выпил.

— Весь выпил? — спросил с тревогой дед Евсигней у Мирона Сечкина.

— Кажись, весь. .

— Ну, значит, не меньше, чем на два часа речь.

Дед Евсигней не ошибся. Столбышев говорил ровно два часа шесть минут.

Не будучи врагом читателю и не желая уморить его скукой, автор не решается передавать речь Столбышева дословно. Кроме того, существу вопроса, то-есть воробьепоставкам, из всех проговоренных Столбышевым двух часов шести минут было посвящено только три минуты. И то эту часть своего доклада Столбышев преступно растянул, так как все сказанное им за три минуты можно было сказать ровно в трех словах: «Пора начать ловить!» Поэтому, отказавшись от передачи дословно речи Столбышева, автор позволил себе несколько углубиться в анализ системы речей коммунистических ораторов и осветит те пагубные причины, которые делают эти речи длинными и постными, как сухари, замешанные на овсяном толокне без воды. Это и поможет читателю создать себе представление, о чем говорили Столбышев и последующие четыре оратора. И, вообще, такой объективный анализ подготовит читателя к пониманию всех речей коммунистических ораторов, произносимых по любому поводу, так как шаблон для речи коммунистического оратора один, и речи на любую тему — от мероприятий по воробьепоставкам до всесоюзного протеста по поводу

наводнения в Индии — произносятся именно по этому шаблону.

Итак, первое: речь коммунистического оратора, как и симфония, обязательно состоит из четырех частей.

Часть первая занимает одну треть времени речи и может быть названа «Ура!!!» (Невиданный рост. Невиданные достижения. Где и в какой стране возможен такой бурный рост? Спасибо родной партии, раньше было — родному Сталину, за заботу). Эта часть речи произносится в бурных тонах (форте).

Часть вторая занимает одну четвертую времени речи и может быть названа «Долой!» или «Ату их!» (Мрак и безысходность проклятого царского режима. Прогнивший капитализм. Страдание народа под игом капиталистов. При капитализме и верблюды горбатые. Никакого прогресса, только загнивание. Долой! Ату их! Все народы мира с надеждой смотрят на Советский Союз). Эта часть речи произносится в негодующем тоне, кроме последней фразы (форте).

Третья часть занимает одну восьмую времени речи и может быть названа «Но!» (Но, несмотря на бурные успехи, у нас еще есть недостатки. Осторожное перечисление недостатков. Виноваты всегда низовые работники). Эта часть речи произносится в начале тихо, потом громоподобно — критика низовых работников (пиано, форте).

Четвертая часть речи бывает тем длиннее, чем меньше у оратора остатков совести. Она может быть названа, как и первая часть, «Ура!» (Невиданный рост. Невиданные достижения. Где и в какой стране возможен такой бурный рост? Спасибо родной партии, раньше было — родному Сталину, за заботу) — (фортиссимо).

Второе: язык коммунистического оратора построен на цепкой связи. Таким образом, случайно попавшее ему на язык слово порождает целую ненужную фразу, а ненужная фраза порождает другие, и так до конца речи, пока у оратора хватает сил говорить. (Они — народ тренированный, как марафонские бегуны).

Познакомившись с этими принципами, читателю уже не нужно слушать речи ораторов и он может, избавив себя от этой муки, мысленно представить, что будет говорить оратор по любому поводу. Таким образом, у автора отпадает необходимость передавать содержание речи Столбышева и речей последующих ораторов — Маланина (полтора часа), Семчука (час десять минут), Тырина (сорок пять минут), Пупина (сорок минут).

По мере того, как ораторы толкли всю ту же воду в той же ступе, в зале поднималось настроение и расцветали улыбки. Вначале дед Евсигней сидел, выпучив глаза и раскрыв рот, как в момент удушья, но потом, следуя зову мудрого инстинкта самосохранения, он перестал слушать ораторов и повернул голову в сторону выходной двери. Унылый тон ломившихся в дверь приобрел истерические нотки.

— Пусти выйти! — кричал какой-то женский голос. — Пусти, сукин сын, сил больше нет!

— Не велено! — гудел из-за двери Чубчиков.

В зале прошел смешок.

— А ты, милая, сбегай в Ленинский угол, — посоветовал кто-то из аудитории.

— А, может, ей туда и не добежать? — откликнулся другой голос.

— Ничего, добежит!

— Давай поспорим, что не добежит!

— Спорим!

— Спорим!

А очередной оратор все говорил и говорил: «В области сельского хозяйства наши достижения бурные, неслыханные. Только благодаря руководству любимой и родной...»

И никто его не слушал. Даже Сонька-рябая, стоявшая в проходе и от нетерпения бившая лаптем по полу, которую, по приказу Столбышева, держали два дюжих комсомольца под руки, чтобы она не сорвалась раньше времени, и та так была поглощена повторением наизусть своего «выступления с места» (написанного Столбышевым) и так ей не терпелось выступить, что она от горячки ничего не соображала и ничего не слышала.

Когда Пупин, наконец, окончил речь и сошел с трибуны, Столбышев поднялся и громко спросил:

— Может, кто-нибудь из, так сказать, присутствующих хочет высказаться?

Спросив, Столбышев сразу же дал знак спускать Соньку-рябую.

— Я!!! — дико закричала Сонька и, освобожденная из цепких рук, сорвавшись с места, вскарабкалась на трибуну.

— Товарищи! — заорала она, так широко раскрыв рот, словно хотела проглотить всех «товарищей». — Товарищи! Наша родная и любимая партия приказала ловить воробьев. Разобьемся в лепешку, жизни своей не пожалеем, последнюю рубашку отдадим (у нее была только одна рубашка), но выполним задание с честью! Товарищи! Мы должны плакать от радости, что партия, наша родная и любимая, дала нам задание. Товарищи! Где, в какой стране, при каком режиме бывают такие чудеса, когда партия просит народ? ! Мы должны...

Заключительный аккорд увертюры звучал бравурными тонами.

ГЛАВА VII

ЗАНАВЕС ПОДНЯТ

Следующий день после собрания прошел тихо, очень даже тихо. В Орешниках стояла безветренная африканская жара и от нее попрятались все, кто куда.

— В такую жару только водку пить, — поучал дед Евсигней приятелей, нашедших убежище в его погребе. И скоро в погребе зазвенели стаканы тем благородным звоном, который явно указывает на то, что они не пусты.

— Говорят, лови! — разглагольствовал дед на актуальную тему, обняв Мирона Сечкина за плечи и дыша на него деликатным запахом кислой капусты. — А где ж ты его поймашь, ежели он, воробей, между нами будет сказано, свободным вырос? Птица — не человек, добровольно она в кабалу не полезет!..

Под вечер небо над Орешниками стали заволакивать темные тучи, а с заходом солнца разразилась страшная буря: засвистел ветер, ринул дождь, засверкали молнии, загрохотали раскаты грома. Небо над Орешниками негодовало, негодовал и хозяин орешниковской земли — Столбышев. Запершись в кабинете, под артиллерийские раскаты грома он строчил не менее громовые приказы. Косматые брови его двигались, как крылья воспетого Горьким буревестника: — Будет буря! Скоро грянет буря! — как бы говорили они, и чернила напиткивались вспышками молний.

А в это время за зданием райкома, на захлавленном пустыре площади имени Сталина, встретились два председателя колхоза, закутанные в черные плащи из грубо проасфальтированной мешковины, цена 160 рублей за штуку. Встретились тайно, пряча лица в капюшоны при каждой вспышке молнии.

— Ловить или не ловить? Вот в чем вопрос! — тоном столичного Гамлета спросил первый.

— Кто знает, где смерть свою найдешь?! — вздохнул второй.

И вихри ветра понесли обоих в разные стороны; они потонули в крошечной мокрой тьме.

Утром на свежесмытом небе заулыбалось ясное солнышко. Но ответственным работникам оно казалось черным. Сам Столбышев своего отношения к небесному светилу не определил не только потому, что на этот счет из обкома не было соответствующих указаний, но и потому, что он все писал и писал, не видя и не слыша ничего вокруг. Не слышал он и того, как по райкому прокатился дружный возглас

облегчения: ах! Не обратил он внимания и на условный стук Раисы в двери его кабинета: лам-ца-дрица-а-ца-ца! И только когда дверь распахнулась, он поднял усталое и гневное лицо свое от бумаг:

— В чем, того этого, дело?

И мгновенно гнев на лице его сменился милостивой улыбкой, какая появляется у народного судьи по отношению к социально-близкому уголовнику: прямо на него смотрел бусинками глаз воробей — первенец районного улова, «основа новой эры», как писал в «Орешниковской правде» редактор Мостовой. Воробья держал в руках Степа, на которого, наверное ввиду его слабоумия, подействовали речи ораторов и он стал ловить.

— Поздравляю, Степа, поздравляю с патриотическим поступком! — поприветствовал его Столбышев и ткнул пленного воробья измазанным в чернила пальцем в клюв. — Здравствуй, пернатый друг! — приветствовал он уже на этот раз воробья и еще раз ткнул его пальцем.

— Интересно, как он реагирует на дым? — полубопытствовал Маланин, подъяриваемый зудом великого испытателя природы.

Испытание воробья на дым обогатило науку новым вкладом. Было зафиксировано, что воробей, вдохнув сизый табачный дым, чихнул по-птичьи, затем широко раскрыл клюв и закатил глаза, но все же — выжил.

— Так... Интересно!.. — констатировал Маланин. — А что, если ему смазать пасть чернилами? — продолжал он, сверкая пытливым, умным взглядом своим.

— Наша система передовая, — поддержал его Столбышев. — Подо все надо, того этого, подводить марксистскую научную базу. Мажь ему пасть чернилом!

Не понимая великого значения основы всех наук — марксизма, воробей стал по-контрреволюционному вырываться.

— Надо его связать по ногам и крыльям! — предложил Столбышев, показывая этим, что он хорошо усвоил основной принцип коммунистической демократии. Воробья связали. Но все же до подведения научной марксистской базы дело не дошло. Воробья выручил вначале редактор Мостовой, а потом райкомовский кот Васька. Мостовой пришел по вызову Столбышева и сделал несколько снимков Степы и воробья в отдельности.

— А может лучше сфотографировать его на фоне помещения воробьятника, или как оно там называется? — предложил Мостовой.

— То-есть, как это — помещения?! — удивился Столбышев.

— А где же вы их будете держать? В райкоме, что ли?

— Гм, того этого... — на секунду смутился Столбышев, но сразу же взял себя в руки и, с присущей каждому коммунистическому руководителю ловкостью, мигом свалил всю вину на другого: — Эх, товарищ Маланин! Вот и понадейся, того этого, на тебя! Десять инструкций о воробьях написал, а главное забыл. Не государственное отношение, так сказать. Воробья надо хранить в помещении, а где оно? Где, я тебя спрашиваю?! Вот из-за таких, того этого, как ты...

Чем больше чувствовал за собой вину Столбышев, тем яростнее и длиннее выговаривал он подчиненных, валя на них всю вину. Благодаря этому, скопированному с больших коммунистических вождей

маневру, Столбышев держался на шатком положении секретаря райкома на редкость долго и выходил из всех бед сухим, утопив не мало других менее проворных товарищей.

«Если хочешь быть преуспевающим, надо быть безгрешным. А для того, чтобы быть безгрешным, надо иметь козлов отпущения», — рассуждал Столбышев, совершенно правильно оценив обстановку в среде сильных мира коммунистического. Разнос очередного козла отпущения Маланина, длился почти полчаса. Под конец Столбышев, чтобы лишний раз доказать, что только он один выводит район из всех трудных положений, воскликнул:

— Я сам, того этого, засучив рукава, возьмусь за дело! Уж я не сплосхаю! Я найду помещение! Давайте мне воробьепродукцию!

Но воробьепродукции не оказалось в наличии. На столе лежали несколько перышков и две лапки с демократическими путами, а рядом сидел кот Васька и горестно вздыхал.

Два председателя колхозов, сошедшиеся на пустыре имени Сталина для очередного тайного совещания, услышали надрывный визг.

— Кому назначено, не миновать судьбы! — мрачно заметил первый.

— Пора за дело, я сигнал уж слышу! — трагическим речитативом ответил второй, приняв стенания Васьки за голос невыполнившего воробьепопоставки коллеги.

Весь накопившийся за ночь гнев Столбышева обрушился на кота. Не считаясь, как то и положено в СССР, с прежними заслугами последнего, спасавшего на протяжении многих лет десятки тонн райкомовских бумаг от антипартийной деятельности мышей, Столбышев применил к нему методы, известные под названием «недопущенные законом», но которые являются постоянным и излюбленным методом в одном из самых работоспособных советских министерств. Освободив воробья от дальнейших пыток марксизмом, Васька сам принял мученический венец и, спасаясь от карающих рук, сделал еще одно доброе дело. По слабости природы, он изгадил все бумаги на столбышевском столе, где происходила экзекуция, а потом опрокинул на них чернильницу. Бумаги сплошь покрылись однородными, краской и содержанием и невозможно было уже различить на них имена более чем двадцати ответственных работников района, обвиняемых в преступном саботаже воробьепопоставок.

На следующий день, когда в «Орешниковской правде» появился посмертный портрет воробья с подписью: «Один из многих, заготовленных в районе, полнокровных и долговечных экземпляров», в райком стала поступать первая продукция. Так, после долгого шума и мытарств, началась кампания по выполнению правительственного задания. А раз началась кампания, то, разумеется, начались новые мытарства, поднялся новый шум и полезли наружу недочеты. Первый недочет помог вскрыть дед Евсигней. Когда к вечеру мощный аппарат райкома принял уже пять воробьев, заприходовал их в книги, заполнил на них десятки анкет: цвет, рост, самка или самец, если самец, то почему? и т. д. — и в общем истратил на оформление воробьиных бумаг 360 рабочих человеко-часов, в райком явился дед.

— Нет воробьев, — заявил он с порога

— То-есть, как нет? — переспросил Маланин, указывая на кучу оформленных бумаг.

— Бумажки есть, а воробьев нет! — авторитетно подтвердил дед Евсигней.

Срочно составленная комиссия из четырнадцати человек во главе со Столбышевым на рысях потрусил к коровнику колхоза «Изобилие». В этом здании, после изгнания из него коров, — не подохнут на улице, чай, колхозные, привычные, — было устроено «воробьеохранилище». Первым в воробьеохранилище вошел Столбышев, остальным же членам комиссии и не надо было входить: через огромные щели в стенах они и так видели, что помещение пусто.

— Маланин! — заорал Столбышев, просовывая голову в стенную щель. — Опять негосударственное, нерадивое, так сказать, отношение?

И тут, совершенно не понимая пагубных последствий, козел отпущения Маланин стал на столь же проторенную, сколь и пагубную дорогу, которая привела миллионы партийцев в концлагери Дальнего Севера и еще ближе — в подвалы органов госбезопасности на предмет беспересадочной переправки в мир, где отсутствует классовая борьба. Маланин начал обвинять старшего:

— Позвольте, товарищ Столбышев! Я это помещение вижу впервые! Вы его сами выбрали, вы и виноваты!

— Как я могу быть виноват, когда я здесь старший? ! — сразу же парировал его Столбышев и с места в карьер перешел в контратаку: — Не вражеская ли, того этого, рука ведет подкоп под авторитет партийного руководства? Я знаю, что у некоторых, не называя, так сказать, фамилий, чешутся руки сорвать важное правительственное задание! Но мы, коммунисты, умеем распознавать врагов... Бдительность!

При последнем слове Столбышев так сильно ударил кулаком в стену бывшего коровника, что ветхое здание закачалось, затрещало и стало рушиться. Столбышев избежал участи быть похороненным под социалистическими развалинами только потому, что всегда внутренне был подготовлен к подобным случайностям и в процессе посещения строений выработал в себе чутье, присущее старым шахтерам и дровосекам. Не растерявшись, он с криком: Полундра! — ринулся через ближнюю щель наружу и имел еще время понаблюдать, как убежище колхозных коров от лютых сибирских морозов превратилось в груды полусгнивших досок, балок, перетрушенную такими же прогнившими соломинами, составлявшими раньше крышу.

— Гм! Того этого, стихийное бедствие!.. Неумолимая, так сказать, природа! — экспромтом окрестил Столбышев обыкновенную коммунистическую бесхозяйственность и, как ни в чем не бывало, обратился к Маланину: — Составь-ка акт, что весь районный улов 380 штук, — так числилось по сводкам, — погиб, так сказать, вследствие стихийных бедствий. Социализм — это учет!..

Последнее изречение было взято из сталинской сокровищницы мудростей и, как каждая фраза покойного «отца народов», имело двойной смысл. Все члены комиссии поняли, что первый камень брошен. Не понимал этого только Маланин. Он думал, что он прощен, что инцидент исчерпан, что честным и самоотверженным трудом своим он загладит грехи критики начальства. Он думал то, что перед ним думали миллионы уничтоженных советских партийных и беспартийных граждан, и точно так же поступал, как они когда-то поступали: оправдывались честным отношением к делу, не понимая, что донос

на начальника лучше всего гарантирует его безопасность. Маланин был уже обречен: стоит одному волку ранить другого, как вся стая набрасывается на него и остается от серого меньше, чем от сказочного козлика: только ножки. Итак, началась травля. В тот же вечер в кабинет Столбышева явился Тырин и, прикрыв за собой дверь, поговорил вначале о погоде, а потом, как бы невзначай, заметил:

— Вы знаете, товарищ Столбышев, что у Маланина двоюродный дедушка был жандармом?

— Гм, того этого, запиши-ка эту штучку на бумаге. Социализм, — это учет!

Потом в кабинет к Столбышеву ринулся Семчук:

— Не кажется ли вам странным, что Маланин учит в свободное время древне-египетский язык?

— Понятно, — заключил Столбышев, — понятно, для каких целей он занимается заграничными языками. . . Запиши-ка, того этого, на бумаге. Социализм — это учет!

Много разного народа перебивало в тот вечер в кабинете Столбышева и, взвесив в руках папку, на которой было написано «Совершенно секретно. Дело М.», он самодовольно определил: «Минимум двадцать пять лет!» Это было до посещения Соньки-рябой. После того же, как она покинула кабинет, Столбышев вызвал к себе Раису и шепотом сообщил ей:

— Маланин больше не жилец на этом свете: расстреляют!

— В чем дело? — несколько даже удивилась та.

— Шпионаж в пользу древнего Египта и Уоллстрита! Он, понимаешь, того этого, имеет даже голубей! Для связи с заграницей, понимаешь, голубей использует. В голубятне на доме у него живут и, того этого, как мне доложили, вчера одного голубя не стало.

— Сдох, может, или кошка съела, — страдая притуплением бдительности, заметила Раиса. На что Столбышев с сожалением покачал головой и так детально обрисовал своей сожительнице, какое значение имеет пропажа голубя в связи с изучением древне-египетского языка, что под конец на него напала мелкая дрожь и он однажды даже вскрикнул, случайно взглянув на свою тень. Короче, бдительность Столбышева достигла того предела, когда коммунисту за каждым кустиком чудится по два вредителя, за каждым деревом — по дюжине диверсантов, когда уже никому нельзя доверять и когда коммунист смотрит в зеркало и спрашивает свое изображение: «А кто же из нас двоих шпион?» *

— Они только и ждут, того этого, войны! — дрожащим голосом повествовал Столбышев. — В первый же день войны все Орешники восстанут против любимой власти. Для того сюда и засылаются, так сказать, шпионы типа Маланина. Ты думаешь, он один? Вокруг него целая организация. Чистку надо! Всеорешниковскую чистку! — заскрежетал он зубами и мальчики кровавые запрыгали в его глазах.

Уже в полночь в кабинет Столбышева был вызван лейтенант милиции Взятников, исполнявший по незначительности района функции уполномоченного органов госбезопасности. И слова «взять на заметку», «арестовать» так же часто ударялись в плотно закрытые двери кабинета, как это бывает каждый раз на заседаниях в кабинете президиума ЦК партии.

Ночью над индустриальными городами страны в темном небе вы-сится зарево. Это плавится чугун, варится сталь миллионами и милли-онами тонн. Ночью в грохоте машин и станков рождаются новые танки, самолеты, всевозможные орудия истребления. Они вносятся в баланс выполнения плана строительства коммунизма. Коммунизм строится и днем и ночью, но ни днем, ни ночью основного материала каждого нормального строительства — гвоздя — в СССР не достать. По странному пониманию строительного дела, коммунисты предпочи-тают выпускать вместо скрепляющих гвоздей разрушающие орудия. Поэтому в эту ночь над Орешниками, как над Магнитогорском или Челябинском, тоже пылало зарево. Мобилизованные Маланиным кузнецы ковали гвозди вручную, способом известным еще казаку Ореху. В отличие от магнитогорского и челябинского зарева, орешни-ковское зарево было мирным: ковались гвозди для ремонта свинуш-ника колхоза «Изобилие», который, после изгнания из него через огромные щели свиней, должен был быть переоборудован в «воробье-хранилище». За это сложное и трудоемкое дело Маланин взялся с энергией, напоминающей собой энергию утопающего, когда он хватается за соломинку.

— Ничего, — говорил Столбышев лейтенанту Взяткину, — пусть он, того этого, старается, а мы его потом уничтожим. Пока человек по-лезен, будь он хоть, так сказать, король или сам чорт, мы, коммуни-сты, должны его использовать, а потом, того этого...

И был бы Маланин сразу же после окончания ремонта свинушника арестован, и арестовали бы вслед за ним еще десяток орешан, но всех их спас неожиданный случай.

Уже под утро в кабинет Столбышева громко постучали.

— Автоколонна приехала! — закричала через дверь Раиса.

— Какая такая автоколонна?!

— Прямым ходом из Москвы в Орешники! — ответил за дверью голос.

Столбышев мгновенно лишился языка.

— За воробьями, наверное, — со страхом прошептал Взятников. — Быть беде!

— Ты им скажи; что я, того этого, отсутствую, — выдавил из себя Столбышев. — В поездке по району, так сказать. Пусть обратятся к Маланину!

Потом он задул керосиновую лампу, открыл окно, в темноте вы-скользнул на улицу и собрался было уже бежать, но его схватил за рукав заведующий районным магазином Мамкин:

— Товарищ Столбышев, — быстро заговорил он, — колонна при-была из Москвы прямым ходом. Говорят, месяц ехали. Что делать? Куда девать? Тысячу уборных привезли.

— То-есть, каких, того этого, уборных?

— Которые хранить в сухом месте, — вздохнул Мамкин. — В первой партии было тридцать штук, а теперь целую тыщу унитазов приперли. Что с ними делать? На что Сечкин мастер на все руки, и тот посмотрел да и говорит: «Ежели бы не такая особая конструкция, ежели бы из него можно было самогонный аппарат сделать или дет-скую ванночку, взял бы, а так на что он мне?» Беда!..

— Ты, того этого, не критикуй. Москва знает, что делает, — одер-

нул Мамкина Столбышев. А после того, как он ознакомился с сопроводительными партии унитазов бумагами и установил, что они подписаны самим министром торговли Союза ССР, он вообще пришел в священный трепет и, коротко скомандовав: «Принимай!» — заперся опять в своем кабинете.

Если бы сведения о прибытии в Орешники партии унитазов чудом просочились через железный занавес и стали бы известны на Западе, несомненно это произвело бы сенсацию. В некоторых государствах были бы срочно созваны заседания кабинета министров. А на страницах печати появились бы комментарии известного газетного Вольтера: «Кремль ведет политику мира!», в которых стояло бы, что отношения между Кремлем и Пекином ухудшились и Мао Цзе-дун стал на путь Тито, поэтому его надо задобрить — отдать Формозу; что Тито сблизился с Кремлем и поэтому надо его задобрить — дать ему сто миллионов помощи; что русский империализм со времен Ивана Грозного был нестерпим и что теперь советское правительство делает реальные шаги к миру, переключив промышленность на производство унитазов и что поэтому надо вести переговоры и расширять торговлю Запада с Востоком. Такова была бы реакция на это событие на Западе. Но Столбышев трактовал факт прибытия партии унитазов по другому.

— Ты знаешь, Взятников, — говорил он полушопотом, — тут одно из трех: или будет, того этого, война и Москву разгружают от ценностей; или победил новый курс какого-нибудь вождя и он временно задобривает народ, чтобы, так сказать, пустив остальных вождей к праотцам, иметь поддержку; или, наконец, пускают пыль в глаза иностранцам насчет мирной политики и к нам, может, того этого, пришлют партию каких-нибудь заграничных дураков...

Долго шептались они и, наконец, решили: Маланина пока не арестовывать, а выжидать, что будет: в случае войны его проще будет повесить, в случае уничтожения одного из вождей ему можно будет пришить связь с ним, в случае приезда иностранцев не стоит подымать шум, пока они не уедут.

Окончив совещание, районный Макиавелли с районным Фуше пошли отдыхать. Светало. У большой вереницы грузовых машин шоферы разожгли костер и сгрудились вокруг него. Закаленные в борьбе с бездорожьем, душевно израненные встречами с милицией, физически подорванные качеством советских машин, они пели грустную песню сиплыми голосами. Рядом стоял дед Евсигней, проснувшийся по старой привычке единоличника с первыми петухами, и, пригорюнившись, слушал.

— Эх вы, бурлачки горемычные, — вздыхал он. — И куда только судьба вас не бросает...

— Министерство нас бросает, — ответил один из бурлаков атомного века. — Не успели отвезти из Москвы в Ташкент лыжную мазь, на тебе, погнажи в Орешники. А дома жены с детишками плачут...

И опять грустная песня поплыла над Орешниками, грустная, как удел шофера при наличии системы государственного планового хозяйства.

ГЛАВА VIII

КОНТРАМИНИСТР

Часов в девять утра в Орешники бодрой походкой вошли два незнакомца. Один из них, на вид лет тридцати пяти, высокий, стройный, с небольшими искусно подстриженными и подбритыми усиками, был одет в чудный, заграничный наилоновый костюм. Тонкого фетра серая шляпа его, ботинки на белой каучуковой подошве, легкий плащ, который он держал перекинутым через руку, пестрый галстук, — все это было первосортного заграничного качества. Второй, помоложе, был одет тоже невиданно шикарно для Орешников, но почти во все отечественного производства. В руках он нес большой, сверкающий, крокодиловой кожи портфель. Держался он на шаг сзади заграничного костюма и изредка забегал вперед, чтобы, отвечая, заглянуть в лицо с франтовскими усиками.

Первый был проходимец и спекулянт Гога Дельцов, московская знаменитость, не менее уважаемый и известный в столице, чем любая звезда киноэкрана, или солист Большого театра. Вторым был его помощник и адъютант Коля Брыскин.

— То-то, друг Коля, — ворковал приятным баритоном Дельцов. — Вот они и Орешники. Дичь и глушь. Но сколько прелести! Как нетронуту девственно выглядят колхозные поля — никакого насилия над природой. Как живописно растут лопух, васильки и репейник! Пшеница — по пояс, если стать на четвереньки. Неописуемая красота! Великий мастер природы Тургенев в этих местах, да при этом быстрое, мог бы создать невиданные шедевры. Но не дожил старик до торжества социализма...

— К нам направляется представитель туземной власти, — перебил Дельцова подчиненный Брыскин, бесцеремонно, как в зоопарке, указывая пальцем на милиционера Чубчикова, отбивающего галошами строевой шаг.

Гога Дельцов оценил опытным взглядом фигуру милиционера и строго приказал:

— Зеркалец и бус мелким вандалам не дарить. Прибереги для старших!

Чубчиков приблизился к ним на пять шагов и подобострастно взял под козырек, но обыкновенные при проверке чужих людей слова «ваши документы» застряли у него в горле. Так он и простоял, как рядовой при встрече с генералом, плотно прижав руку к козырьку, а незнакомые люди продефилировали мимо.

— Служите? — тоном отца-командира спросил его Дельцов, оглядываясь.

— Служу! — одним духом ответил Чубчиков, пуча глаза и выпячивая грудь колесом.

— Старайтесь!

Дельцов и Брыскин, круто повернув, взяли направление на разбивших бивуак шоферов.

Чубчиков еще несколько минут простоял неподвижно, как в почетном карауле, потом нерешительно отнял руку от козырька и словно по команде — бегом марш! — пустился к избе Взятникова.

— Одеты как министры или крупные жулики, — докладывал он своему непосредственному начальнику. — Меня даже похвалили, говорят: старайтесь!

— Сейчас разберемся, — сопел со сна лейтенант, натягивая форменную сбрую.

Весть о прибытии незнакомцев с быстротой молнии облетела Орешники. И вскоре их окружили плотным кольцом.

— Гляди, Манька, подошва на ботинках какая! Ну, как не влюбиться?!

— Нужна ты ему с потресканными пятками. У него зазноба, небось, в шелковых платьях ходит, каждый день пахучим мылом моется.

— Судьбина горькая, живут же люди...

— А что у него на галстуке?

— Кажись, обезьяна нарисована...

— Как пишется в книжках — великий свет!

— Граждане, не напирайте! Да не напирай, говорю, успеешь посмотреть...

— Шапка-то у него...

— Не шапка, а шляпа!

— Пропустите председателя райисполкома к месту происшествия!..

Семчук продрался через толпу и, еще издали кланяясь, подошел к незнакомцам. Поздоровавшись, он оглянулся по сторонам и, вынув из рукава вчетверо сложенный лист бумаги, вручил его Гоге Дельцову.

— Так рано и уже донос? — спросил тот, принимая бумагу и брезгливо морщась.

— Будучи советским патриотом, я считаю своим долгом вскрыть вражескую деятельность пробравшихся в партию типов, вроде Столбышева, Маланина...

— Ради единства коллективного руководства? — перебил лепет Семчука Коля Брыскин.

— Точно так. Не могу молчать, наблюдая, как... как... — Семчук на минуту подозрительно оглянул советского производства костюм Коли и замялся: — Простите, я конечно делаю это не намеренно, я здесь председатель райисполкома, мой долг... моя обязанность... — Он окончательно сконфузился и умолк, так и не спросив, кто же эти люди, которым он вручил донос.

— Обдарить, — милостиво кивнул головой Дельцов, и его помощник ловким движением опытного конкистадора извлек из кармана зеркальце в переплете книжечкой из искусственной кожи и протянул его Семчуку:

— В знак дружбы...

— Заграничное? — как раненый в сердце, простонал Семчук, разглядывая подарок.

— Не совсем. Из Чехословакии... Послевоенное производство, так себе, а в общем — дрянь...

Семчук был так поглощен детальным рассматриванием зеркала, что не заметил, как его оттер плечом лейтенант Взятников. Освободив себе место, Взятников взял под козырек и хотел было уже выпалить: «Ваши документы!» — но при виде заграничного костюма Гоги у него непроизвольно вылетело хриплое «Добро пожаловать!»

— Выдай служивому подарок! — скомандовал старший конкистадор.

Разглядывающего зеркальце Взятникова оттер Столбышев.

— С приездом!.. Дорогие товарищи, устали, того этого, с дороги? — запел он сладким голосом и сдул с заграничного рукава Дельцова пылинку. — Из Москвы пожаловали?..

— Угу.

— Радость-то какая!.. Ну, как столица?

— Ничего, стоит на месте, — небрежно ответил Дельцов и поинтересовался: — А вы, кто же такие будете?

Установив, что перед ним стоит сам хозяин района, он распорядился дать ему зеркало и вдобавок пачку американских сигарет «Камель».

— В Одессе с большими трудностями достали. Только там и можно достать, и то по большому благу с моряками дальнего плавания, — говорил он, придавая искусной модуляцией голоса больше значимости подарку.

По лицу Столбышева расплылась улыбка, как кусок масла на горячей сковородке:

— Премного благодарен. Мерси, как в Москве говорят. Рад буду пригласить вас отъесть... откушать, так сказать, чем Бог послал. Не поставьте на вид провинциальную простоту. Пицца, конечно, не московская, фрикаделей и, того этого, антитрикетов с гречневой кашей не имеем налицо, но поросенка в силах организовать. Поговорим о дорогой столице, о, того этого, государственных делах столичного масштаба. В общем, прошу!.. Уважьте!.. И мерси вам заранее и пардон, как в Москве говорят.

Добившись согласия отобедать, Столбышев, красный и радостный от удачи и от гордости за короткую речь в высоком столичном штиле, бросился в дом Раисы.

— Беги скорее в колхоз «Изобилие» и передай, что я, того этого, распорядился списать одного поросенка, как издохшего от чумки. Тащи его сюда, жарь, убери хлам и мусор. Чтобы все выглядело по культурному. И не ходи, так сказать, лахудрой! Опозоришь меня перед московскими гостями... О, Господи, темнота и провинция!.. Ну, как я тебя, такую некультурную, возьму в Москву? !..

— Ты сам вначале туда доберись! — огрызнулась любимая женщина.

Столбышев с недоумением пожал плечами, как Раиса сама того не понимала, что, благодаря воробьепоствакам, он уже одной ногой в Москве.

Дельцов в сопровождении верного Брыскина прибыл из Москвы

в Орешники за московскими унитазами. Эта неказистая посуда в столице была остро дефицитным товаром и ее не могли достать даже опытные спекулянты: — шагающий экскаватор может, а об этом и не мечтайте, — говорили они, краснея в отличие от государственных торговцев за свою беспомощность. Беспомощность спекулянтов на унитазажном фронте объяснялась тем, что они, разбалованные легкими условиями Советского Союза, погрязли в рутине и, как откормленные мыши в амбаре, потеряли чувство изобретательности в борьбе за существование. Когда вся Москва стонала по унитазам, спекулянты почивали на лаврах и никто из них не удосужился приоткрыть занавес над тайной бесследного исчезновения их с рынка.

И вот за это таинственное и явно прибыльное дело взялся, тогда еще мало известный спекулянт, Гога Дельцов, торговавший шнурками для ботинок в разнос. И на этом деле Гога Дельцов вознесся до небывалых высот, когда даже сам московский областной прокурор при встрече с ним первым снимал шляпу и кланялся: «С огромнейшим приветом, милейший!»

Унитазы выпускала небольшая московская фабрика «Прогресс». Они поступали с фабрики в министерство и распределением их ведал сам министр. Это было известно всем. Но необъяснимой загадкой являлся факт, что вся, распределенная министром, продукция фабрики «Прогресс» бесследно исчезла. Исчезла так, словно бы ее арестовали органы госбезопасности. Бросив продажу шнурков для ботинок, дававшую ему втрое больше заработка, чем основная профессия инженера строителя, Гога подошел к раскрытию тайны исчезновения унитазов, как профессор к изучению неизвестного еще медицине недуга. Он посещал фабрику «Прогресс», беседовал с работниками министерства и однажды, незаконно присвоив себе звание спекулянта галошами, был принят самим заместителем министра. Постепенно клубок распутался и Гога установил, что пропажа унитазов происходит вследствие особой и редкой даже в советских условиях системы перестраховки.

Фабрика «Прогресс» существовала еще до революции и всегда выпускала санитарные приспособления для домов. С начала первой пятилетки все качественное сырье пошло на военные заводы и продукция фабрики стала несносной. Поэтому на протяжении двадцати лет на фабрике сменилось более ста тридцати директоров, посаженных и расстрелянных за брак. В 48-м году директором фабрики был назначен некий Елкин, ранее бывший директором спичечной фабрики. Познакомившись с производством и увидев, что никакого спасения нет, Елкин написал на себя анонимный донос, что он зарезал собственного племянника, — рассчитывая таким образом, что лучше просидеть три года в тюрьме за убийство несовершеннолетнего родственника, чем получить расстрел за бракованные унитазы. Однако следствие установило, что у Елкина никакого племянника не было. Его освободили, и он с двумя поломанными ребрами к ужасу своему опять очутился на пороховой бочке директорского кресла фабрики «Прогресс».

Он слышал, как внизу под полом грохотали машины, вырабатывая пагубную продукцию, но остановить их он не мог, ибо невыполнение плана — равносильно смерти. Выпускать же доброкачественную продукцию он тоже был не в состоянии. Как грозная лава под землей,

под полом директорского кабинета накапливались смертоносные унитазы. В этот критический момент судьба сжалилась над обреченным Елкиным и подкинула ему на письменный стол обыкновенную спичечную коробку, его прежнюю продукцию, загоравшуюся по вдохновению. «Хранить в сухом месте», — прочел Елкин на спичечной коробке и, осененный гениальной мыслью, ударил себя по лбу.

Через месяц, когда разразился планомерный унитазный скандал, Елкин оправдал себя с честью. Вместо него полетел в тартары министр, не заметивший предупреждающей надписи на продукции фабрики «Прогресс». А новый министр оказался более дальновидным и стал засылать унитазы в глухие места, где их не могли использовать и, следовательно, не могло быть жалоб на качество. Вот и вся тайна.

Сделав такое великое открытие, Гога Дельцов сразу же взял на персональное жалование с выдачей щедрых премиальных необходимых работников министерства торговли и таким образом захватил в свои руки всесоюзную унитазную монополию. Он летал на самолетах к чукчам Камчатки. Пробирался на верблюдах в безводные пески Кара-Кума. Мчал на собачьей упряжке в зоне вечной мерзлоты. И за тысячи километров от Москвы находил водобоязливые посудины. И хотя обратная перевозка стоила колоссальных затрат, Гога зарабатывал несметные деньги.

— Дельцов ворочает миллионами, — говорили о нем в Москве завистливые спекулянты, специалисты по добыче и продаже кожи, мануфактуры, лаврового листа, дамских бюстгалтеров, керосина, чулок, мебели, детских сосок, авточастей, электропроводов, лент для бантиков, колесной мази, хомутов, галош, кастрюль, щипцов для завивки волос, английских булавок, оправ для очков и стекол к ним, примусных иголок, искусственных грудей и тысяч других давно изобретенных человеком предметов, о которых работники советской торговли имели представление после знакомства с ними на черном рынке.

Приняв и обласкав местных орешниковских руководителей, Гога на ходу подрядил московских шоферов на обратную перевозку еще неразгруженного груза, и только потом направился в районный магазин к Мамкину, где и завел деловой разговор:

— Вот что, дорогой. Хочу тебя осчастливить и купить всех московских «генералов», попавших сюда по планомерному недоразумению. Я тебя спасаю от крупной неприятности невыполнения торгплана. Слов благодарности не говори. Моим именем детей своих не называй. Мы уже давно не девушки, и сентиментальность нам не к лицу. Коля, — обратился он к Брыскину, — выдай товарищу Мамкину под расписку причитающуюся сумму по твердым государственным ценам и добавь ему пятнадцать тысяч за жизнь в отдаленных районах. На пятнадцать тысяч расписки не требуй. . .

Мамкин высморкался в платок и пару раз всхлипнул:

— Жалко продавать. Поймите чувство работника прилавка, когда после стольких лет у него в магазине завелся товар. — Он пустил слезу и уткнул лицо в платок. Плечи его вздрагивали.

— Я не могу видеть мужских слез, — с болью в голосе простонал Дельцов. — Коля, выдай ему без расписки еще пять тысяч за нанесение морального ущерба. Осуши слезы несчастному.

Но слезы несчастного не просохли и после следующих трех тысяч,

выданных без расписки, как выразился Дельцов: на предмет постройки моего монумента с унитазом в руках и соответствующей надписью: «Спасшему районную торговлю». Ну, а потом слезы Мамкина, как и каждые слезы, которые льются черезчур долго, сделали сердце Гоги Дельцова черствым. Он замкнулся в себя и уселся верхом на табурет ожидать, пока трагический талант Мамкина иссякнет. Лицо Гоги сделалось каменным, как у родственника, который присутствует на похоронах тещи, пропившей все состояние и ничего, кроме долгов, не оставившей в наследство.

— Ты что, хочешь получить сталинскую премию, как известная плакальщица и вопленица Василиса? — спросил Гога ледяным голосом после долгого молчания. — Не хочешь продавать, так скажи сразу, что я, мол, хочу, чтобы меня посадили за срыв торгового плана. Без меня не продашь ни одной проклятой посуды! И если ты плачешь от радости, то я тебе эту слабость великодушно прощаю. Но если ты плачешь от вековечной жадности купца и стяжателя, то мы сейчас же уйдем и стряхнем с ног своих прах земли орешниковской.

Гога Дельцов поднялся с табурета и сделал движение в сторону двери.

— Куда?! — жалобно всхлипнул Мамкин.

— Куда вы удалились? — передразнил его Дельцов. — Мы уезжаем в древний город Углич, где за тысячу прошедших лет не построена и на следующую тысячу лет не предусмотрена постройка канализации и водопровода и куда прибыла большая партия унитазов. В Угличе работники советской торговли за тысячу лет постигли мудрость не плакать, а наживаться.

— Берите все! — вздохнул Мамкин тоном ограбленного в темном переулке миллионера, который просит оставить ему только жизнь.

— Талант! — искренне восхитился Гога Дельцов. — Век живи, век учись. Совершенно новый метод психологического воздействия на покупателя. Ты, Мамкин, за границей в два года мог бы состояние сделать. Но у нас твой талант неприменим, у нас должен покупатель плакать, умолять и биться в истерике...

Древний обряд купли и продажи был совершен всего в несколько минут. Коля Брыскин с треском открыл портфель и отсчитал причитающуюся сумму.

— Прибавили бы на многодетность, — опять зарюмсал Мамкин, заметив, что в портфеле столько денег, словно хозяева его только час тому назад ограбили государственный банк СССР и не успели истратить ни одной копейки.

— Наверное, тебя в детстве учили не попрошайничать. Как многодетному, ответственному за воспитание потомков, тебе не следует это забывать, — заметил Гога Дельцов, раскладывая веером на столе бумажки с разноцветными штампами и печатями. — Не смотри на них с опаской, как нищий на найденный в кружке подаяний фальшивый банкнот. Зачем делать липовые документы, если за небольшую мзду можно получить официальное удостоверение на право покупки волжского пароходства? — пробаритонил Гога и предложил Мамкину выбор.

Выбор был большой и разносторонний. Тут были документы почти всех московских учреждений, трестов и предприятий, и в каждом из них писалось, что товарищ Г. В. Дельцов подлинно является агентом

по снабжению (следовало: какого завода, фабрики, главка, треста) и что он уполномочен производить закупки, расчеты и проч. проч.

— С кем хочешь иметь торговые сношения? — спросил Гога и Мамкин, закрыв глаза, словно вытягивая жребий, взял наугад.

— Недурно! — улыбнулся Гога Дельцов. — Коля, он вытащил удостоверение, любезно выданное мне фабрикой «Прогресс». Так как мы покупаем для «Прогресса» его же собственную продукцию, то мне жалко выброшенных зря двадцати трех тысяч.

— Я же плакал! — оправдывался Мамкин.

— Ну, разве что за слезы жемчужные, — вздохнул Дельцов и повернулся к адъютанту: — Иди, Коля, составлять караван и поторопись на визит к местному удельному князьку.

Обед у Раисы, данный Столбышевым в честь московских гостей, фамилии которых он так и не узнал и которых он называл «дорогие столичные товарищи», прошел с церемониями, напоминающими собой давно прошедшие времена Мадридского двора, когда испанская армада еще владычествовала на семи морях и океанах. Раиса носилась пухом по дому и все время закатывала глаза, складывала губы трубочкой, ахала, томным взором смотрела на гостей и, вообще, пустила в ход весь арсенал выученных у зеркала дамских чар.

— Ах, это правда, что в Москве у женщин высшего света в моде прически под-мальчика?.. Ах, мне рассказывала одна подруга, что в Москве носят нейлоновые платья?.. Говорят, когда Уланова поет в Большом театре, даже по благу трудно достать билеты. Эта чародейка Уланова!.. Тра-ля-ля-ля! — запела Раиса, бросив в наступление последний резерв женского обаяния.

Партизанские набег Раисы с тыла, фронта и флангов сильно мешали Столбышеву вести тонкий дипломатический разговор. Он разозлился:

— Веди себя по-культурному, зараза! Не крути хвостом! Может, того этого, дорогому товарищу на данном этапе даже неприлично на тебя смотреть, — воскликнул удельный орешниковский князек, на минуту забыв об этикете. — Извините, так сказать, нас, — сразу вежливо обратился он к гостю. — На лоне провинциальной природы сильно огрубляются чувства. Ну, как поживает товарищ Молотов? — опять вернулся он к дипломатическому разговору. Голос его сделался вкрадчивым. Глаза хитро поблескивали.

— Ничего, пока живет, — бесстрастно отвечал Дельцов.

— Это очень и очень, так сказать, интересно!.. Живет, значит, пока?..

— Живет.

— Очень стойкий и незыблемый товарищ. Несгибаемый товарищ! Очень приятная новость. Того этого, мерси вас, как в Москве говорят. Гм!.. Ну, а как же здравствует товарищ Каганович?

— Пока живет.

— Радостная весть, и приятно, так сказать, слышать такие речи. Товарищ Каганович — голова и удивительной души человек. Этот не подкачает, старый соратник, вполне светлая личность и, того этого, цивилизованный человек, полезный для культуры и процветания, я бы так сказал. Ну, а как Маленков?

— Пока живет.

— Интересно, живет, значит, Маленков... Мда!..

Столбышев на минуту умолк и задумчиво поковырял бок жареного поросенка вилкой.

— От холеры помер? — поинтересовался Дельцов, отрезая от поросенка спины ломоть.

— Мы больше на чумку списываем. Мда!.. Интересные новости... Значит, ничего нового. А как, того этого... Впрочем, лучше пока выпьем на данном этапе. Налей-ка, Рая, по стакану!..

— Ах, эта вонючая самогонка... Жуть, жу-у-у-уть!.. — Раиса сложила губы свирелью и закатила глаза с такой силой, что Гога невольно отшатнулся, увидев перед собой сплошные бельма. — В Москве, я слыхала от подруги, бенедиктин-ликер в моде у пьющих мужчин...

— Больше водку глушат.

— Неужели?! Ах, как это интересно... А я думала, что московские мужчины любят сла-ад-кое... хи, хи!..

Столбышев посмотрел на пышущую жаром свою сожительницу и поспешил произнести тост:

— Так выпьем же и закусим поросенком за тех, кто день и ночь думает, так сказать, и кует счастливую жизнь для трудового народа и человечества вообще! Дорогой столичный товарищ! Успехи нашего района, благодаря неустанной заботе райкома, где я являюсь, так сказать, старшим, достигли небывалых размеров. Посевы зерновых в колхозах нашего района, по сравнению с прошлым годом, увеличены на 36 процентов. В области животноводства я добился, того этого, небывалого бурного роста и... — Столбышев потянул из кармана большой сверток бумаги со сжатым конспектом тоста. Но подоспевший во-время Коля Брыскин спас своего патрона от пытки речами.

— Товарищ контрминистр! — по-военному обратился он к Гоге. — Караван в Москву отправлен. Подъемные и суточные уплачены. Экипажи обещали проделать обратный рейс за пятнадцать дней, вместо одного месяца, и своевременно доставить товар на базу. За техническое состояние машин и трезвость шоферов отвечает Филимон Цуркин... Разрешите приобщиться к официальной трапезе?..

— Добро пожаловать! — заюлил Столбышев, усаживая гостя за стол.

Жалко, что в этот момент в избе Раисы не присутствовали маловеры, относящиеся с насмешками к партийному изречению «Коммунист — это человек особого склада», ибо Столбышев неопровержимо доказал, что данное изречение соответствует действительности. Услышав, что перед ним находится контрминистр, Столбышев не посмел сесть за стол и, находясь между сидящих напротив Гоги и Коли, с непостижимым искусством смотрел обоим, не отрываясь, преданным взглядом в лица, притом сразу обоими заплывшими жиром глазами. И каждый из гостей думал, что Столбышев смотрит только на него и готов для него разбиться в лепешку. Непроизвольно продемонстрировав главные данные, необходимые, чтобы стать человеком особого склада, Столбышев каждому в отдельности, но одновременно, задал один и тот же прощупывающий вопрос и выяснил, что Брыскин совсем не министр, как он вначале предполагал, а главный здесь — контрминистр. После этого человек особого склада подвинул блюдо

с поросенком к Дельцову, поставил рядом с блюдом бутылку и бесцеремонно сел спиной к Брыскину, преданно глядя на контрминистра.

— Будьте отцом-благодетелем, дорогой товарищ контрминистр! Объясните, того этого, когда же наше дорогое и мудрое правительство вынесло правильное и своевременное решение о контрминистрах, — почти запел Столбьшев, довольно ловко копируя все нехитрые ужимки Раисы.

Дельцов бросил злой взгляд на своего помощника, но, смирившись с необходимостью, снисходительно соврал о недавнем введении должности контрминистра и добавил:

— Это так же, как и во флоте: есть адмирал и контрадмирал. Адмирал путает все дела, а контрадмирал их распутывает. Моя обязанность — распутывать дела министра...

— Мудрое, гениальное и историческое, того этого, решение. А не слышали ли вы, так сказать, случайно, как дорогой товарищ Кедров? Теперь тоже контрминистр?..

— Кедров с Малой Бронной № 6 недавно министерскую квартиру отхватил! — вставил Коля Брыскин и Столбьшев мигом поблагодарил Дельцова:

— Преогромное мерси, как в Москве говорят, за добрые вести. У меня с дорогим товарищем Кедровым личная связь. Большие государственные дела вершим, того этого. Дело секретное, — подмигнул Столбьшев, — но вы, конечно, в курсе... В общем, я только намекну... — Столбьшев наклонился к уху Дельцова и прошептал: — воробьепоставки...

Дельцов заулыбался, понимающе закивал, но когда Столбьшев хотел ему еще что-то сообщить по секрету, Дельцов со страхом отстранился от него:

— Пойдем, Брыскин, государственные дела ждут! — нетерпеливо произнес он и встал.

Отказавшись от любезно предложенной персональной машины Столбьшева, они с панической поспешностью покинули Орешники. Уже за околицей, когда махавший прощально шапкой Столбьшев превратился в карлика, Дельцов вытер надушенным платком потный лоб:

— Легко отделались!.. Чего доброго, псих и покусать мог...

Как видно, не понял Гога Дельцов, гений всесоюзной спекуляции, значения слов секретаря райкома. Не понял потому, что, несмотря на свои организаторские способности, пытливый ум и энергию, он был только простым беспартийным человеком и не имел опыта в выполнении тысячи самых разнообразных противоречивых, неожиданных и часто странных приказов и распоряжений партии и правительства. Впрочем, удивляться непонятливости Дельцова не следует. В СССР много удивительного. Даже такой крупный специалист по сельскому хозяйству, как академик Лысенко, признался в одной из своих статей, что впервые узнал о возможности взращивания кукурузы за полярным кругом из правительственного постановления.

Г Л А В А IX

ШТАТНАЯ ГЕРОИНЯ ТРУДА

Самым выдающимся атлетом труда в Орешниковском районе была Сонька-рябая. Она выигрывала все социалистические соревнования. Ставила массу рекордов. Считалась передовиком и новатором сельского хозяйства. И неоднократно блеснула невероятнейшими успехами в самых разнообразных областях колхозного производства.

И вот теперь, на заре отечественного воробьеловства, ей надлежало и на этом поприще пожать лавры трудовой славы. Так предложил Столбышев на экстренном заседании бюро райкома и предложение его было с воодушевлением поддержано остальными членами бюро: «Сонька, она опытная, она не подведет!..»

Принимая во внимание бесконечное доверие, оказанное местными руководителями Соньке-рябой, и уверенность в ее успехе, нельзя обойти эту героиню труда непочтительным молчанием. Автор пытается быть максимально приближенным к советской действительности, и раз в Советском Союзе считается смертельным грехом замалчивание имен и нераскрытие духовных обликов передовиков труда, то и автор вынужден рассказать все, что он знает о Соньке-рябой. И приступая к этому делу, автор, следуя традиции советских писателей и литераторов, кается и признает свои ошибки, что раньше, в предыдущих главах, недостаточно глубоко раскрыл образ «лучшего человека в районе» Софии Сучкиной, — так официально именовалась Сонька-рябая.

Софья Сучкина роста маленького, кургузая и самого, что ни на есть, на редкость безобразного сложения. При выделке ее лица природа приложила меньше старания и художественного вдохновения, чем при выделке обыкновенного булыжника. Наверное, устыдившись качества работы, природа ниспослала Соньке оспу и глубокие рытвины искусственно придавали ее лицу какое-то выражение. Жениться на ней не находилось смельчаков. И она, повинувшись зову инстинктов, особенно сильно развитых у уродов, не брезгала ничьими посещениями, о чем красноречиво свидетельствовали постоянно вымазанные дегтем ворота ее дома. При всех этих физических и моральных качествах, Сонька-рябая обладала еще незаурядным даром лени. Работы она боялась хуже смерти и все свое время посвящала еде, сну, любовным утехам, бесконечному самолюбованию в зеркало и натиранию для красоты и румянца корявых щек своих свеклой, подаренной на бедность соседями или украденной у тех же соседей, ибо коммуни-

стический взгляд на собственность был присущ ей с детства. И вот, благодаря безграничной лени, Сонька-рябая и стала героинею труда. Подобное чудо в остальном мире невозможно, но в Советском Союзе это — обыденное явление.

Возвышение Соньки в «лучшие люди» произошло так.

В конце двадцатых, начале тридцатых годов в Орешниках раскулачили около двадцати зажиточных хозяйств. Хороших, старательных тружеников земли часть расстреляли, часть отправили с семьями, старыми и малыми, в концлагеря, что тоже, в общем, равносильно смерти. Террор орешан запугал, но не сломил.

— Кулак, говорят, классовый враг. Мы бедные, нас не тронут... — Так рассуждали они и никто не хотел идти в колхоз. Тогда в Орешниках были арестованы сорок бедных хозяев, объявленных «подкулачниками», и «классово близких» постигла участь «классовых врагов». Поняв, что сопротивляться бесполезно, орешане, проклиная власть на чем свет стоит, добровольно были загнаны в колхоз.

Сонька-рябая, предчувствуя, что в колхозе придется работать, пуще всех плевалась и сквернословила, чем и показала свою политическую отсталость, которой она потом, уже умудренная колхозным опытом, постоянно и, кажется, единственно этого в своей жизни стыдилась.

Когда вооруженные наганами двадцатипятидесятники при помощи милиции первый раз выгоняли колхозников на работу в поле, один из партийных начальников, как водится, напутствовал мрачную толпу речью:

— Еще товарищ Карл Маркс сказал, землю надо обрабатывать коллективно, по-колхозному. А раз он сказал, значит, точка и не сопротивляться, а то душа из вас вон!.. Вы должны идти на работу, как на праздник, с красным флагом и пением интернационала. А тех недобитых и недодушенных врагов, которые не покажут энтузиазма, я возьму на карандаш и там увидят!.. Кто понесет красное знамя?.. Никто?! Хорошо же, несознательный вы элемент!! Повторяю во-вторых: кто понесет красное знамя, не будет работать!

— Я! — мигом нашлась Сонька-рябая, подталкиваемая ленью и бесстыдством.

Целый день колхозники ломали спину в поле, а она стояла, как монумент, с красным знаменем в руках. Так продолжалось до вечера.

— Сонька, она активистка! — говорили позже партийные руководители. — Она самая надежная. Она с красным знаменем ходит!..

И правда, с тех пор, как Сонька взяла в руки знамя, она всегда его таскала с собой: на работу, на собрание, в очередь за солью, и только вернувшись домой, ставила его в угол у печки рядом с рогачами и кочергами. Став активисткой, Сонька начала проявлять первые признаки коммунистической сознательности и если к ней стучался ночью гость, она, не принимая во внимание старого знакомства, требовала предъявления партийного или комсомольского билета. Так круг ее сожителей сузился и принял партийный характер. Ну, а дальше пошло все, как по маслу. Соньку стали выпускать на собраниях говорить речи «от имени собравшихся». Она по заданию райкома подписывалась на большую сумму на государственный безвозвратный заем и

тем давала повод требовать, чтобы другие вкладывали последние деньги.

Дальше — больше. Сонька научилась кричать «ура!», бить себя в грудь, плакать при упоминании имен вождей от восторга, рвать на себе волосы и кричать «смерть ему!», когда очередного вождя объявляли врагом. Так, постепенно, она постигла все необходимое, чтобы стать настоящей активисткой. Потом настала пора трудовых рекордов и к Соньке прикрепили знаменитую свиноматку «Дусю». Свиноматка опоросилась четырнадцатью поросятами; в райкоме — приписали, в обкоме — скорректировали, в республике — уточнили и за 22 поросенка «Дуси» — Сонька получила орден Ленина. Ее выбрали депутатом райсовета, потом депутатом областного совета, затем, неизвестно за что, приблудился к ней орден Трудового Красного Знамени. Она стала важной. Ни с кем не здоровалась. Поступила в партию. И когда двое комсомольцев как-то в сердцах называли ее «ленивой тварью» и припомнили историю с поросятами, она написала на них донос и обоих посадили на десять лет за клевету на лучшего человека.

Вот, пожалуй, и все, что пока можно сказать о Соньке-рябой.

— Веди, того этого, Сучкину сюда! Мы из нее «Героя Социалистического Труда» сделаем! — приказал Столбышев Тырину.

И Тырин пошел.

— Товарищ Сучкина! — закричал Тырин, подойдя к сонькиной избе. — Тебя зовут у райком!..

Из настезь раскрытой двери избы вышла курица, посмотрела на Тырина, поскребла лапами землю, что-то клюнула и спокойной поступью вернулась в избу.

— Товарищ Сучкина! — закричал опять Тырин. — Тебя срочно зовут в райком!..

На этот раз из дверей избы высунула голову белая коза и, потрусив бородой, изрекла: «Мэ-э-э...»

— А, чтоб тебе!.. — Тырин решительно пошел в избу. Сонька спала на наваленных овчинах на лавке, а под лавкой, на наплеванной шелухе кедровых орехов, нежился поросенок. Он лежал на боку, вытянув все четыре ножки и шевелил розовым пяточком.

— «Богато живет», — подумал Тырин и принялся рассматривать окружающую обстановку. Пол был весь сплошь, на два пальца, усыпан шелухой кедровых орехов и, наверное, никогда еще доски пола не были осквернены прикосновением веника. На грубо отесанном столе валялся ломоть черного хлеба, несколько сваренных в мундирах картошек и везде по столу была рассыпана соль, так что необходимости иметь солонку у Соньки не было. Печь была, как и в других избах, огромная и занимала половину всего пространства. Издали печь казалась разрисованной причудливыми тропическими узорами. Словно пальмы, кустарник, странной формы линии и зигзаги были нанесены на ней искусной рукой художника-сюрреалиста. Но при ближайшем рассмотрении Тырин установил, что это просто следы бесчисленных раздавленных клопов. На печи, как и положено, была лежанка — убежище от лютых зимних морозов, и там теперь были свалены

ворохом различные тряпки, мешки и еще что-то, чего за общим беспорядком невозможно было разобрать. В избе была одна табуретка, кадка для воды со старой консервной банкой вместо кружки, в черной пасти печи стоял задымленный чугунок, а рядом на полу валялись рогач и кочерга. На стенах любовной рукой Соньки были развешаны портреты всех советских вождей, кои, видимо, с неменьшей любовью были засижены мухами. А пониже, отдельным стройным рядом с равнением направо, висели дешевенькие базарные фотографии солдат в количестве, примерно, взвода, с командиром на правом фланге. Это были участники маневров 38-го года, державшие оборону в Орешниках. Около них висели фотографии крупного формата. На одной из них, в трафаретной рамке в виде сердца с надписью «Люби меня, как я тебя», был сфотографирован небритый субъект в кепке, чудом державшейся на правом ухе. Во рту или, вернее, на самом кончике оттопыренной губы его висела папироса, а в руке он держал стакан и словно чокался с объективом. На второй фотографии были запечатлены двое в полувоенной форме, какую обыкновенно носили партийцы в тридцатых годах. Они стояли друг против друга, пожимали левые руки, в правых держали по нагану и по привычке, не глядя, целились один другому прямо в сердца. Лица их напряженно смотрели в объектив.

— На боевом посту засняты, — прошептал Тырин, — во время исполнения партийного задания...

Осмотрев окружающую обстановку, Тырин приблизился к Соньке. Рот ее во сне был широко открыт, совсем, как это бывало на собраниях. На конопатом подбородке лежала, корчась в предсмертных муках, муха, а две другие, не предвидя пагубных последствий, лакомились губной помадой на сонькиных губах (производство треста ТЭЖЭ. Говорят: «Поцелуй смерти».)

— Вставай, Сучкина!.. Вставай...

Услышав нежные слова, коими ее обыкновенно будили друзья по ночам, Сонька, всхрапнув, хрюкнула и открыла совершенно бесцветные глаза.

— Чаво?

— Вставай, у райком вызывают.

— И-е-е-е... Вздохнуть не дают. Все работай, да работай... — белые ее ресницы обиженно замигали, и она еще раз тяжело вздохнув — и-и-е-е — не поднимаясь, вытасила из-под засаленной подушки кусок зеркала, коробку с пудрой, губную помаду и флакон очень дорогого одеколона «Красная Москва». Началось наведение красоты. Сонька пудрила заспанную физиономию; зажав в кулак помаду, терла по губам; потом смазала грязную шею одеколоном и самодовольно стала рассматривать себя в зеркало.

— Ты бы лучше умылась по-культурному...

— Умываются те, у кого денег нет, а я, чай, получаю немало...

— Ну, пошли.

Шагала Сонька не быстро, косолапо, по-солдатски взмахивая руками. Сзади ее, метров на двадцать, тянулся шлейф смеси самых неожиданных запахов.

— Вот, товарищ Сучкина. Большое, того этого, тебе дело партия поручает! — начал с хода Столбышев, жестом приглашая Соньку

садиться. — Ты должна показать производственные успехи по воробьевловству... Поставить, так сказать, рекорд.

Сонька-рябая вздохнула. Как не легко ставить трудовые рекорды, но все же это связано с некоторой затратой труда.

— Чижило мне, я уже на своем веку наработалась...

— Ничего. Дело, так сказать, не пыльное, но денежное. За это Золотую Звезду получить можешь, в Верховный Совет, того этого, назначит выбрать; может, в Комитет Мира попадешь за границу поедешь, купишь барахла разного по дешевке... — искушал Столбышев, и Сонька согласилась.

Как организовать рекорд каменщика знают все, а рекордсмен-каменщик, получив кирпичину в руки, шлепает ее как-нибудь и таким образом за день укладывает 18 тысяч кирпичей. При этом считается, что он работал один и не принимается в учет, если стена рушится.

Как организовать рекорд забойщика, тоже всем известно: десяток инженеров месяц ползают по шахте и выискивают удобное место. Двадцать крепильщиков, вместо двух, работают на знатного забойщика. Ему дается лучший инструмент и он, знай себе, рубит уголь и кроме этого не делает никаких других работ, которые должен делать простой забойщик.

Как организовать рекорд токаря, кузнеца, овцевода, доярки, полевода — все знают и все это уже испытано. Но вот, как организовать рекорд по улову воробья — это была еще неизведанная область. И к чести Столбышева надо сказать, что он не задрожал перед трудностями новаторства. Первым делом он распорядился разбросать на большой площади за околицей Орешников полтонны пшеницы. Потом двадцать колхозников на протяжении трех дней гоняли воробьев длинными шестами отовсюду и только на месте, где была разбросана пшеница, их оставляли в покое. Одновременно с этим несколько мастеров изготовляли силки и прочую снасть для ловли. А Сонька-рябая целые дни спала, набираясь сил, как борец перед матчем. И местный фельдшер, согласно приказу Столбышева, делал ей массажи. Так, по крайней мере, говорилось в Орешниках: «Соньку, того этого, натирают...»

На четвертый день Сонька при всех орденах и регалиях появилась на кишевшем воробьями месте... За ней следовали двенадцать помощников. А за ними, сохраняя тишину, чтобы не спугнуть воробьев, шло человек двадцать: партийные работники, председатели колхозов, милиция для охраны порядка, фельдшер на случай перенапряжения героини труда, представители райисполкома и возглавлял их всех сам Столбышев, имея около себя редактора Мостового для ведения летописи трудового подвига.

Но одно дело — поставить рекорд на угле и кирпиче, а другое — на воробьях. Увидев такую массу народа и, не без основания, приняв Соньку за огородное пугало, большинство пернатых улетело. Остались только те, которые пожадничали и, обожравшись пшеницы, доживали последние часы свои. Их ловили помощники Соньки просто руками и передавали ей улов. Рекорд получился жиденький. Всего шестнадцать штук. Вернувшись в свой кабинет, Столбышев приписал

к сонькиному балансу восемь воробьев, потом подумав, плюнул и округлил цифру. Получилось тридцать.

— Все равно подохнут, так какая, того этого, разница: 24 или 30? — справедливо рассудил он.

На следующий день в «Орешниковской правде» появилась фотография героини, извещение о ее трудовых достижениях и статья за ее подписью, написанная Мостовым, «Как я поймала тридцать воробьев». А еще через день Сонька и два инструктора райкома уселись на телегу, в которую были запряжены две колхозные клячи, и поехали по району делиться опытом успехов в воробьевловстве. И в тот же день райком разослал во все колхозы циркуляр следующего содержания:

«При составлении норм для колхозников по ловле воробья было допущено преступное снижение (камешек в огород Маланина). Трудовые успехи мастеров воробьевловства опрокинули все нормы, составленные без учета производственных возможностей. Поэтому райком ставит вас в известность, что с сего числа дневная норма улова для колхозника считается в количестве двенадцати штук вместо прежних пяти. За выполнение дневной нормы колхознику причитается один трудодень. И т. д.»

— Ну, не сволочь ли эта Сонька? — возмущался, узнав о новых непосильных нормах, дед Евсигней. — Убить паразитку мало. Ну, кто же теперь сможет выполнить норму и заработать эти проклятые 300 граммов зерна на трудодень? . . . Шлюха несчастная, мерзость и навоз. . . Вот посмотришь, она на этом еще орден заработает. . .

Мирон Сечкин улыбнулся про себя и не спеша вытащил кисет с махоркой:

— Не заработает Сонька ничего. Перебью я ее рекорд.

ГЛАВА X

БЛИЖЕ К МАССАМ

— Стыдно вам, товарищи, того этого, отрываться от масс! Долг партийного работника — быть, так сказать, ближе к массам. Надо работать в гуще народа, воспитывать народ, своим жертвенным примером вдохновлять народ на трудовой подвиг, а не сидеть по кабинетам, — распинался Столбышев на собрании актива. Почему засели по кабинетам? — он сурово оглянул всех и остановил свой взгляд на Маланине.

В кабинете было тесно. Многочисленные работники райкома еле помещались в нем. А на два метра вокруг стула Маланина была зона отчуждения. Туда никто не решался вступить.

— Забюрократились, того этого?!! Приросли к письменным столам?!! Уборочная на носу, — стал считать по пальцам Столбышев, — сельхозинвентарь отремонтирован на двадцать с половиной процентов. Агитация за, того этого добровольную сдачу государству зерна сверх плана не проведена. Транспорт не подготовлен. . .

Столбышев насчитал двадцать восемь неотложных дел, и ни одно из них не было как следует подготовлено.

— А воробьепоставки?! Куда это годится? Скоро из Москвы придет приемочная комиссия. . . Тяпкин! На сколько процентов мы выполнили воробьепоставки?

— Утром было три процента и 65 сотых, а к вечеру пять воробьев сдохло, значит, полпроцента долой. . .

— Вот видите?! Позор! Не государственное, так сказать, отношение! . . . Предлагаю сделать выговор Маланину.

— А я то при чем? — взмолился опальный.

— Ставлю на голосование. . .

Маланину единогласно вынесли выговор. Потом часов до трех ночи обсуждали кому в какие колхозы ехать наводить порядки.

Рано утром заспанный и помятый Столбышев сел в райкомовский старенький лендлизковский джип.

— Дела, дела, так сказать, ни сна, ни отдыха. . . Погоняй-ка, Гриша, в колхоз «Ленинский путь», — обратился он к шоферу.

Джип заскрипел, как телега немазанными частями, и покати по пыльной улице.

Скоро Столбышев, освеженный душистым и прохладным утренним ветерком, сладко потянулся и, раскинувшись на сиденьи, запел:

— Эх, дороги, пыль да туман,
Холода, тревоги, да степной бурьян. . .

Но как только джип выехал за околицу Орешников и с грохотом, треском запрыгал на ухабинах и колдобинах, Столбышев прекратил петь и, уцепившись обеими руками за борт машины, болезненно застонал:

— Осторожно, Гриша, не убей!.. О, Господи! Да, не убей же!

Гриша сидел, крепко держась за руль, с фатальным выражением на лице и напоминал собой героя-танкиста, ведущего машину на пролом через противотанковые надолбы.

Раньше здесь была дорога «лежневка», построенная еще в незапамятные времена. Большие, толстые бревна лежали сплошными рядами поперек дороги и хотя на них порядком потряхивало, но весной в распутицу и во время осенних дождей по дороге вполне сносно можно было ездить. В начале тридцатых годов на дорогу вышли комсомольцы с песнями, флагами и плакатом «Лежневка — пережиток проклятого прошлого. По асфальту к социализму!» За несколько дней комсомольцы дружно развалили бревна и с песнями, флагами и плакатами вернулись в Орешники. С тех пор прошло более четверти века, а область, приказавшая разломать «лежневку», не прислала ни единого грамма асфальта, хотя бы для чисто образовательного назначения и знакомства людей с этим невиданным материалом. Поэтому, вначале к социализму, а когда его построили, то к коммунизму, приходилось ехать по оголенной от бревен дороге. И дорога мстила за головотяпское отношение к себе рытвинами, колдобинами, пылью, ухабами и непролазной грязью. После небольшого дождика даже джип, работая всеми четырьмя колесами, буксовал и за час мог проехать по ней не больше 5-7 километров. А весной и осенью дорога вообще делалась непроходимой: на ней буксовали гусеничные трактора, и много смельчаков тонуло в глубоких и бурных дорожных лужах.

Сейчас было сухо. Благодаря содействию погоды, опытный и лихой шофер Гриша довел машину до деревни Короткино без аварий и поломок. Расстояние в 15 километров преодолели в сказочно короткий срок: один час, двадцать одна минута.

Короткино, где находился колхоз «Ленинский путь», лежало на пригорке и было видно еще издалека. Покосившиеся избы, сколоченные кое-как из досок и бревен собственные сараи крестьян выгодно выделялись своим сравнительно прочным и благоустроенным видом от колхозных строений. Колхозные конюшни, амбары, сараи — серые и неприглядные, — глядели в небо ободранными крышами. Окна в них зияли пустотой, кое-где на стенах были оторваны доски. В общем, они напоминали собой разбитые бурей галеры древних римлян, выброшенные на берег и чудом сохранившиеся до наших дней.

Джип въехал на пригорок и поравнялся с первой избой. Около избы, на приусадебном участке, копошился пожилой колхозник. Босой, в старых военных ватных штанах, подвязанных вместо пояса обрывком веревки, в рубашке из серого домотканного полотна.

— Где, того этого, председатель колхоза?

Колхозник разогнул спину, выпрямился и уныло посмотрел на остановившуюся машину:

— А где же ему быть? Пьет, наверное, в правлении...

— Так рано и уже пьет?

— А то как же? Всегда так день начинается. . .

— Поехали, Гриша, а то еще опоздаем, — всполошился Столбышев.

В колхозе «Ленинский путь» председателем был Утюгов. Четыре кладовщика были тоже Утюговы, родные братья председателя. Из восемнадцати счетоводов колхоза, из тридцати двух бригадиров, нарядчиков, полеводов добрая половина носила фамилию председателя, а остальные являлись дальними и ближними родственниками Утюгова-старшего. Колхозники называли их «семейство Кагановичей», страшно не любили, но поделаться с ними ничего не могли. Когда на общих собраниях все сто шестьдесят колхозников начинали робко выражать недовольство, все пятьдесят пять членов «семейства Кагановичей» монолитной стеной обрушивались на них и криком, угрозами приводили непокорных к повиновению. Кроме этого сам Утюгов был на хорошем счету у начальства, умел «подмазать», польстить, и бороться с ним было бесполезно и опасно.

В колхозе «Ленинский путь» было 60 коров, 40 свиней, 4 гуся и 500 гектаров пахотной земли. Многоголовое утюговское руководство дружно разворовывало и пропивало колхозное добро и из года в год колхоз хирел, чем и оправдывал свое название.

— И как это он так с утра пьет? Ай-ай-ай! — всю дорогу до правления колхоза причитал Столбышев. — Плохой он, того этого, пример показывает подчиненным! . . .

— Ты уж пьян, Утюгов? — в позе воплощенной укоризны остановился Столбышев в дверях правления и горестно покачал головой.

За большим столом помещалось восемь Утюговых: пять братьев — предколхоза и четыре кладовщика, родной дядя — заведующий птицефермой (4 гуся); и два двоюродных брата — бригадира. Прислуживали им еще три Утюговых, но более отдаленных ветвей геральдического дерева.

Увидев в дверях секретаря райкома, Утюгов-старший изобразил на лице божественный восторг, умиленно замигал заплывшими жиром свинными глазками и, оттолкнув прильнувших к нему, как две печальные ивы к могучему дубу, двоих родственников, с трудом встал. Одна печальная ива, родной дядя, не выдержала толчка и брякнулась о пол. Не предпринимая напрасных попыток встать, он все же продолжал нежно шелестеть губами:

— Макар Федорович, к-кормилец наш. . . Мы за тебя во огонь и во воду. . .

— А, товарищ Столбышев, отец родной! — стал выливать нахлынувший восторг Утюгов-старший. — Вождь нашего района и организатор всех побед! Какая счастливая звезда привела вас к нам?! — Утюгов качнулся, придал своему телу уклон в нужном направлении и, борясь с незыблемым законом земного притяжения, прошел несколько шагов, отделявших его от начальства.

— Многие лета! . . . — неожиданно дьяконским басом запел он, обнял Столбышева за плечи и пустил слезу умиления.

Остальные Утюговы, за исключением заснувшего на полу дяди, дружно подхватили «многие лета», а еще через минуту песня перенеслась за стены правления, потом дальше до самого края деревни. Везде, где находились члены семейства Утюговых, везде, где в этот

момент они сосредоточенно воровали, обвешивали, обсчитывали, они на минуту бросили свое занятие и, став по команде «смирно», подхватили заздравную: «Многие лета! Многие лета!..»

— Ну, быть беде, — с тоской и суеверным страхом шептались рядовые колхозники.

Столбышев, слегка побледневший и взволнованный, с чисто коммунистической скромностью прослушал до конца заздравную и затем крепко пожал руку Утюгову-старшему:

— Спасибо за прием!..

— Налейте дорогому отцу нашему встречный кубок!

Столбышев выпил до краев налитый чайный стакан и закусил соленым огурцом, с поклоном поднесенным ему отдаленной ветвью геральдического дерева. Его миглом подхватили под руки и бережно, как архиерея, повели к столу. Там он выпил еще один стакан и опять закусил соленым огурцом.

— То-о не ветер ве-етер ве-е-етку клонит... — сразу же откликнулись песней Утюговы.

Столбышев выпил и, пережевывая огурец, задумчиво подпер голову кулаком.

— Не тревожьте души наши, — прочувственным голосом уговаривал Утюгов-старший Столбышева. — Не грустите, золотой, солнышко вы наше... Эй, вы!.. Плясовую!.. — зычно скомандовал он, и понеслась веселая, разудалая...

Калинка, малинка, малинка моя,
В саду ягодка малинка моя!
И-и-и-и-эх!
Жги! Жги!

Лихо плясали два младших брата-кладовщика, а остальное семейство било в ладоши и заливалось соловьями. Столбышев оживился и вышел в образовавшийся родственный круг.

— Э-эх! Пошла! — закричал он, отбивая мелкую дробь каблучками и плавно поводя руками.

Навстречу ему выплыла двадцатилетняя дочь Утюгова (старший счетовод) и замахала платочком, заихала, лебедем пошла вокруг секретаря райкома, поводя плечами, притоптывая каблучками, танцуя всем — и пылающим жаром телом, и улыбкой, и глазами.

— Эх, цветок-красавица, румяная ягодка! — разгорячившийся Столбышев ущипнул старшего счетовода и та, для приличия взвизгнув, полной грудью прижалась к нему.

— Пой вальс! — переориентировал хор Утюгов-старший.

— Спи-ит мо-оре спит, и не-ебо тоже спи-ит... — медными барифонами прочувственно затрубили Утюговы, от натуги поднимаясь на цыпочки.

Так прошли день и ночь работы с массажами.

Под утро Столбышев, порядком ослабевший и распухший от пьянки, сидел в голове стола и размазывал пальцем самогонную лужу. Справа к нему льнула Утюгова-дочь, слева — Утюгов-дядя монотонно бубнил ему на ухо:

— Макар Федорович, к-кормилец наш... Мы за тебя во огонь и во воду...

Дядя с пьяных глаз принимал Столбышева за родного председателя. Но Столбышев не обращал на него внимания. Его несло:

— Звонят мне из Москвы. Как, говорят, того этого, Столбышев, скоро ли поможешь к нам? А я, конечно, отвечаю: вот как справлюсь с делами, так и ждите...

Утюговы почтительно слушали и в нужные моменты поддакивали.

— Макар Федорович, к-кормилец наш... И во-во...

— Унесите дядю, — прошептал трагическим тоном предколхоза.

— Что же в Москву, так в Москву, — хвалился Столбышев. — В ЦК буду работать, того этого, важные дела вершить придется...

— На кого же вы нас, сирот, покидаете?! — заплакали, притом совершенно артистически, все Утюговы.

Столбышев пьяно улыбнулся и пожал плечами:

— Судьба!.. Впрочем, друзей я не забуду. Ты, Макар, так и знай, сделаю тебя секретарем обкома...

Часов в десять утра Утюговы грузили Столбышева в джип, а вместе с ним грузились мешочки, кулечки с дарами, и поросенок, улыбавшийся мертвым рыльцем тому, что навеки избавился от колхозных мучений.

— А почему здесь гусь ходит? — капризно спросил Столбышев, указывая на последнего колхозного гуся, который, тревожно гогоча, искал своих, съеденных ночью, сородичей.

— И, действительно, почему гусь ходит? Гусю ездить надо, — глубокомысленно изрек Утюгов-старший, и гусь со связанными лапами очутился рядом со Столбышевым.

Столбышев нежно обнял его за шею:

— Гриша, погоняй!..

— Многие лета!.. Многие лета!.. — грянул утюговский хор, а глава семейства снял фуражку и, описывая ею плавные круги в воздухе, отдавал почести отъезжающему начальству. Уже на ходу Столбышев случайно вспомнил, зачем он посетил колхоз и, чтобы в полной мере выполнить свою руководческую миссию он крикнул:

— Так ты же нажимай!!!

Стая сельских собак с лаем погналась за машиной. Собаки чувствовали, что их хозяев обворовали, и честно выполняя свой собачий долг, старались укусить вращающиеся колеса. По-другому к факту увоза их добра относились сами хозяева-колхозники. Они стояли около домов и радовались:

— Слава Богу, хоть не на большой машине приехал, а то бы корову увез...

Справедливости ради надо сказать, что все в районе к Столбышеву относились хорошо и даже по-своеобразному любили его:

— Этот для партийного работника еще в меру подлец и вредный паразит, — говорили люди, — а вот Подколодный!..

Подколодный был секретарем райкома в соседнем Демьяновском районе и именем его пугали детей далеко за пределами его владений: «Не будешь слушаться, прочтет тебе Подколодный лекцию... У-у-у-у!..»

Столбышев иногда находил у себя ласковое слово для человека, мог пошутить, посмеяться, дружески потрепать по плечу. И хотя каждый хорошо знал, что, похлопывая по плечу, он одновременно мог

обдумывать очередную пакость, ему многое прощали за внешнюю человечность. Подколодный был другого склада человек. Он никогда не улыбался, ходил мрачный и с вечно выпученными, как у вареного рака, глазами. Казалось, что его постоянно накачивали насосом, оттого и глаза у него были выпучены, оттого стоило ему только раскрыть рот, как из него под давлением в несколько атмосфер вылетал крик и только после того, как давление спадало, он был в силах закрыть рот свой. Кроме всего этого у него было пагубное для людей пристрастие к политическо-просветительной работе. Когда он обедал, жена его, перепуганная насмерть женщина, обязана была читать ему вслух произведения классиков марксизма или скучнейшие передовые из газет. В райкоме, в колхозах, где только люди работали, он завел такой порядок, что один человек все время должен был читать вслух партийные книги, а остальные слушать и прилежно работать.

Когда чтец переставал монотонно гнусавить и захлопывал книгу, работа кончалась, но не кончалось политическое просвещение. Вечером в клубах, просто на дому у колхозников, пропагандисты опять разворачивали книги и читали пономарским голосом: «Коммунистическая партия и советское правительство, исходя из основных положений марксизма-ленинизма, считали и считают тяжелой промышленность главной и основной отраслью социалистического хозяйства. В своем гениальном труде «Империализм и империокритицизм» на странице 26-й, четвертая строчка сверху, товарищ Ленин пишет...»

А в это время Подколодный крадущейся походкой обходил самые укромные и тайные места и вылавливал спасающихся:

— Идите работать над собой, развивайте свои знания!..

И странное дело, никто в районе, даже сами пропагандисты, никогда не могли повторить ни единого слова из прочитанного. Процент успеваемости всегда и у всех равнялся нулю. После каждой проверки политических знаний, Подколодный, накаченный до опасного предела результатами, приказывал еще и еще удвоить и утроить учебу.

В Демьяновском районе не было влюбленных. Он был самый бедный, никогда не вылезал из прорыва. На лицах людей была какая-то маска испуга и уныния, напоминающая собой известную с недавних пор «хирошимскую маску». И чахла трава на полях района и при осадках, и в засуху.

— Ты, Гриша, поосторожней. К границам Подколодного подъезжаем... .

Дорожная тряска и опасность приближающейся границы подействовали на Столбышева отрезвляюще. Вскоре машина тихо выехала из леса. Вдали показался глубокий овраг, а за ним трогающая щемящей болью сердце грустная картина выжженной земли.

— Вот она... Как бы в лихой час, того этого, на засаду не напороться...

Шофер, зорко оглядываясь по сторонам, на малом газу повел машину, избегая ехать по дороге, шедшей вдоль оврага. Они ехали прямо, пересекая местность. Столбышев подготовился к отражению возможного нападения: из полевой сумки он вытащил кучу приказов, решений и держал их наготове. Черная галка с шумом вылетела из-за куста и, прокаркав, низко полетела вдоль границы. Столбышев

вздрагнул от неожиданности всем телом и перекрестил то место на груди, где у него в кармане был партбилет.

— Отсюда до Крекинг-завода рукой подать. Лучше спешиться... предложил полусшепотом Столбышев.

— Добро! Я буду ждать с машиной наготове, — прошептал верный Гриша.

Держа в вытянутой руке, как оружие, бумаги, Столбышев короткими перебежками опытного разведчика начал преодолевать пространство. Метров через триста он скрылся в глубокой траве и пополз по-пластунски. В это же время за высокими кирпичными стенами огромного Крекинг-завода послышались гулкие удары железа о рельсу. Это били боевую тревогу. Прячась за кустами, Столбышев залег на краю оврага, отделявшего его от заводских стен. Теперь ему некуда было деваться: ни отступать, ни пробираться дальше.

— Угораздило же меня попасть под атаку Подколодного! — с дрожью в голосе прошептал Столбышев, поплотнее прижимая голову к земле.

История, так называемого, Крекинг-завода не единична в Советском Союзе, но поучительна. Поэтому не мешает на ней слегка остановиться.

В 1937 году в Орешниковском районе, в одном из озер, расположенном недалеко от железнодорожной магистрали, нашли богатые залежи нефти. Вернее, партийное начальство установило, что на поверхности озера плавают круги нефти, взяло пробу и отправило ее в область с надлежащей сопроводительной бумагой. Прошло несколько месяцев, и глубокой осенью в эти места пригнали три тысячи заключенных. Началось строительство Крекинг-завода. Так как такой объект является важным в оборонном отношении, строить его стали подальше от железнодорожной магистрали, в Демьяновском районе. Зимой в метель и морозы, измученные и голодные заключенные под окрики охранников возводили стены социалистического гиганта. К весне гигант был готов, а из трех тысяч заключенных осталось в живых четыреста. К этому же времени из Москвы приехала партия геологов и занялась поисками нефти в озере. Геологи очень долго бурили почву, искали и не находили никаких признаков нефти и, наконец, совершенно случайно нефтяной источник был найден: железнодорожная цистерна с нефтью, которую еще в Гражданскую войну, неизвестно — белые или красные, скатили с насыпи и утопили в озере. Разразился скандал. Многих партийных работников района и области расстреляли. Расстреляли всех руководителей строительства Крекинг-завода, геологов и даже некоторых заключенных, уцелевших после ужасной зимы. Единственно, кто не пострадал в этом деле — это главный организатор и руководитель, сидевший все время в Москве, член политбюро.

Короче говоря, Крекинг-завод оказался ненужным, и после того, как с него смонтировали все ценное оборудование и бросили тут же около стен ржаветь, он долгое время стоял пустым и заброшенным призраком, гигантским памятником погибшим строителям. И по ночам только совы, свившие себе гнезда под его высокими сводами, нарушали своим криком могильную тишину каменной громады.

Так простоял он десять лет. В 1948 году в Орешниковском районе

стали организовывать МТС, и Столбышев для него захватил пустующее здание завода. Несколько месяцев Подколотный не замечал вторжения на свою территорию, но потом акт агрессии был обнаружен и началась тяжба. Столбышев в области доказывал, что Крекинг-завод построен из расчета на ресурсы Орешниковского района, значит, он принадлежит ему. Подколотный доказывал, что завод построен на земле его района и, значит, он принадлежит ему. Область же в равной степени относилась к требованиям обеих сторон. Она с легким сердцем выдавала обеим сторонам любые бумажки и каждая бумажка, выданная Столбышеву, аннулировала бумажку, выданную Подколотному, и наоборот. Главная сила была в датах, принятых в области решений, противоречащих своим же прежним решениям. Долголетняя война районов проходила с переменным успехом. Но Орешниковская МТС, превратив Крекинг-завод в крепость, еще ни разу ее не сдавала. Иногда осады длились месяцами. Подколотный разрушал и сжигал мост через ров в Орешниковский район. Осажденные голодали и терпели недостаток в питьевой воде, машины МТС не выходили на уборку и сев, но под командой доблестного директора Гайкина закаленный в боях коллектив не сдавался. Вот и сейчас Подколотный шел в атаку на твердыни МТС.

Вскоре после того, как в МТС пробили боевую тревогу, по дороге из чахлого леса на выжженное поле выехала головная походная застава Подколотного: две полуторатонки, груженные милиционерами. За ними на джипе ехал сам Подколотный с районным прокурором. За ними следовала еще одна полуторатонка с партийными работниками и там же находился, случайно приблудившийся в Демьяновский район, штатный агитатор обкома. Его накачивали водкой, щекотали под мышками и для злости давали закусывать несоленым хреном. Согласно генеральному плану он должен был сыграть роль осадного тарана. Дальше в наступающей колонне шли тракторы, комбайны, сеялки, веялки Демьяновской МТС, кои должны были моментально вселиться в освобожденный завод и занять там оборону.

Но не дремал и доблестный защитник товарищ Гайкин. Прочные дубовые ворота усадьбы МТС раскрылись и из них выехали лазутчики на юрком форде 28-го года. Бесстрашно подлетев к противнику, они метнули в него привязанными к камням бумажками и, лихо повернув, на полном ходу въехали в ворота. Ворота с треском захлопнулись. Расчет опытного Гайкина оправдался. Пока Подколотный читал старые решения обкома, привязанные к камням, Гайкин бросился к телефону звонить в райком и обком. Но телефон безмолствовал: не менее опытный Подколотный еще в самом начале наступления приказал перерезать провода. Осажденные очутились в тяжелом положении. Гайкин, на ходу призывая всех умереть, но не сдаваться, выбежал на стену и из-под руки посмотрел на полчища подколотинцев.

— Пустите в них копией решения обкома и облисполкома за номером 2148! — скомандовал он и, прыгнув со стены — там было уже опасно, прильнул к амбразуре.

Выброшенную бумажку наступающие даже не подняли с земли. Враг подошел к воротам и остановился.

— Выселяйтесь! — разорвался криком, как бомба, Подколотный.

— Согласно решению обкома и облисполкома за номером 2157 — вон из здания!!!

— А я этому решению не подчинюсь. Мне Столбышев хозяин, с него и требуй! — парировал Гайкин.

— Плюю я на Столбышева! Я здесь хозяин! Выселяйтесь, а то хуже будет!

— Я требую подчинения закону! — в тон Подколодному зарычал прокурор.

— Мне Столбышев закон!

— Что твой Столбышев, где он?! Месяц назад, когда мы его захватили живьем при переходе границы, он у меня чернила пил и клялся освободить Крекинг-завод. Так где же он сейчас?!

— После этого мы получили еще три решения...

— А ты чернила у меня еще не пил?!

— Вот, поговори мне, — отвечал мужественный Гайкин, — поговори... Подхватим арканом, тогда узнаешь, где раки зимуют!

— Пррпрокурор!!! Запишите оскорбления, нанесенные...

— У-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у! — завывала оглушительная сирена в осажденной крепости. Разговаривать стало невозможно. Некоторое время Подколодный еще бесновался, показывая разные бумажки, подымая их на шесте. Осажденные специальными крючьями пытались их сорвать и уничтожить. Потом, по знаку Подколодного, к стенам поднесли приблудившегося штатного агитатора обкома. Будучи не в силах говорить, он плевался. И, наконец, милиционеры стали ломать ворота, а защитники поливали их сверху горячим автолом.

Столбышев лежал на краю оврага, ни жив ни мертв от страха, и судорожно копал руками ямку для головы. Поэтому не заметил он, как к оврагу подъехал немецкий трофейный мотоцикл БМВ, как с него соскочил вихрастый парень, перебрался через овраг и вскарабкался на стену. Через несколько минут сирены МТС перестали выть и был дан отбой.

— Что за штучки?! — взвыл Подколодный.

А ему из-за стены отвечал Гайкин торжественным тоном победителя:

— Только что получено решение обкома за номером 2158...

Когда полчища Подколодного отступили и скрылись с поля зрения, Столбышев поднялся с земли, отряхнулся и не особенно громко позвал:

— Товарищ Гайкин!

Разговор между секретарем райкома и директором МТС велся через овраг (мост был уничтожен Подколодным) и длился недолго. Гайкин требовал продовольствия, воды, медикаментов и сообщил, что у него к уборочной ничего не готово, так как борьба отнимает все время и силы.

— Вы, того этого, хоть пару тракторов для вида пустите подымить по колхозам. Механизация все-таки... — робко просил Столбышев.

— А как они в район проедут?

— Я уже постараюсь, вымолю решение насчет моста...

— Ну, тогда посмотрим...

Мужественный Гайкин явно третировал Столбышева, и Столбышев переносил все, лишь бы тот не отдавал Крекинг-завода.

— Подумать только, такое грандиозное, так сказать, сооружение... Отдать его — просто преступление, — постоянно вздыхал Столбышев. А когда какой-нибудь, чудом прорвавшийся из МТС в район, трактор появлялся в колхозе, матери водили детей смотреть эту диковинную штуку.

Солнце двигалось к закату. Джип грохотал через колдобины и ухабы. Столбышев со страхом оглядывался, доставал из мешочка домашние коржики утюговского производства и ел. Гусь смирился с судьбой и дремал на сиденьи. Неожиданно машина осела набок.

— Ну вот, наконец-то, — словно бы обрадовался шофер Гриша, остановил джип и вылезая пояснил: — Едем и едем, думаю, что за чертовщина, как бы чего не случилось плохого: не спускают скаты и хоть ты убей... Ну, теперь, кажется, все нормально.

Он поднял машину на домкрат, снял колесо, разбортовал его и принялся латать дыру.

— Ты бы, того этого, все-таки запасное колесо возил.

— Как можно запасное? Отвинтят на ходу и украдут. Шоферы, сами знаете...

— Мда...

Столбышев доел коржики и достал из другого мешочка ватрушки.

— Наедаетесь, у Егорова ничего не дадут...

— Мда, сволочь этот Егоров, а не председатель колхоза... Его давно пора, того этого, в загринок, чтобы и не пахло развратом в районе... Хорошие ватрушки мастерит Утюгов... Мда!..

— Вы знаете, — с натугой говорил Гриша, затирая рашпилем место на камере для латки, — Утюгов, заведующий птицефермой, мог бы подойти на место Егорова.

— Это какой? Дядя, кормилец наш?

— Он самый. Обходительный человек такой, умный, работающий... Да вот народ в «Заре» упрямый, не захотят его выбрать председателем...

— Ну, ты, того этого, не заговаривайся. Как так, не захотят выбрать? Сорок дней и сорок ночей, если надо, буду держать на собрании, пока не выберут. Рекомендация райкома — это тебе не шутка... Кровь из носа, хоть плачь, да выбирай! Иначе какой же это, так сказать, демократический централизм? Где тогда центр и где демократия??.. Жать на них надо и все! Поживем, так сказать, посмотрим...

Столбышев доел ватрушки, кротко, по-монашески, вздохнул и струсил крошки с гимнастерки.

— Покормить бы гуся? — предложил Гриша.

— Ничего, не сдохнет! — тоном опытного хозяина ответил Столбышев и погладил гуся по голове. — Говорят, они Рим спасли. Умная птица и бывает вкусная. Мда... Дела, дела... В роте, того этого, сухо... Плохо на данном этапе. Голова распухла и чувство такое, как будто я не секретарь райкома, а головастик какой-то...

— Пол-литра бы на поправку, — деловито заметил Гриша, намазал латку клеем, подул, пошептал и прихлопнул ее к камере.

— Эх, Егоров, Егоров. . . Доиграется он еще у меня. . .

— У него молочная ферма хорошая.

— Хорошая-то хорошая, да в плохих, так сказать, руках. Черствый он человек. . . Мда. . . Голова совсем того. . . А, знаешь, ну его к чертям, Егорова. Поехали в «Счастливую жизнь»!

Собаки в Березках, где находился колхоз «Счастливая жизнь», встретили Столбьшева еще за околицей. Один барбос, видно, самый хороший сторож, вспрыгнул в машину и чуть было не цапнул Столбьшева, но не удержался на ухабе и свалился на землю.

— И с чего они, того этого, здесь такие бешеные?

— Сюда наши частенько наведываются.

— Мда. . . Козел вон пасется. . .

Всю ночь и утро до обеда в правлении колхоза «Счастливая жизнь» шел дым коромыслом. В разгаре веселья, часам этак к двум ночи, Столбьшев подошел, качаясь, к шурина предколхоза (старшему кладовщику), хватил его за бороду и с криком: «Эх! Ты — троцкист!» съездил ему в ухо. Старший кладовщик, к тому времени слабо различавший, где грешная земля и где благословенное небо, где подчиненные и где начальство, размахнулся и залепил Столбьшеву ответную затрещину. Они сцепились и покатались по полу, но более трезвые товарищи разлили их самогоном.

Уже в обеденное время Гриша заторопился и, примерно сохраняя равновесие на ходу, вынес из правления на плечах живого барашка и привязал его к капоту джипа.

— Был бы прицеп! — почесал он в раздумье затылок и усадил на сиденье козла.

Козел степенно уселся, осмотрелся вокруг и на прощание закивал головой. Столбьшева вынесли и погрузили в машину последним, после мешка с картошкой.

— Так вы же нажимайте! — за выбывшее из строя начальство, отдал руководящие указания шофер и нажал на газ.

Собаки опять неистовствовали, а их хозяйева-колхозники вздыхали с облегчением: что если бы был прицеп! . . .

Говорят, что езда укачивает. Это отсталое представление о езде давно отошло в СССР в область предания. Через несколько километров из Столбьшева вытрусилло, выбило сон и он почувствовал прилив сил и бодрости. И попадись же, как на беду, в это время на дороге заяц.

— Держи его! . . . Ату! . . . — заорал хозяин райкома.

Джип, как гончая собака, запрыгал через ямы, бугорки, пни. Заяц курьерским поездом мчал по полю, прижав уши.

— Врешь, не уйдешь! — по-марксистски предрекал будущее Столбьшев.

Потом раздался треск и жалобное мычание: машина налетела днищем на пенек. Козел легко и свободно, как ангел, отделился от сиденья, пролетел несколько метров, брякнулся о землю, но сразу же вскочил на ноги и вприпрыжку побежал подалее от таких веселых товарищей. Столбьшев навалился грудью на переднее сиденье, но ос-

тался жив и здоров. Он встал, топнул ногой по железному полу, сделал несколько танцевальных движений руками и пропел с бессмысленным выражением на лице: «Тай-тай... та-ра-та-тай...» Затем он не удержался на ногах, шлепнулся на сиденье и запрокинул голову.

— А все-таки движемся к коммунизму! — заключил он, наблюдая за плывущими облаками.

Шофер Гриша стонал.

ГЛАВА XI

ВЕЛИКОЕ НАШЕСТВИЕ

В орешниковском райкоме, райисполкоме, райкоме комсомола — в этих трех китах, которые, опираясь на силу четвертого кита — районный отдел МВД, держали на себе советскую власть в районе — было много служилого люда. Так много, что наблюдательный дед Евсигней часто говаривал: «Вот ежели бы им всем дать лопаты и заставить копать, так они бы за одну пятилетку до Америки дырку сквозь землю прокопали б...»

Не будем спорить со старым человеком. Может быть, у него были неточные познания в географии и о величине земного шара. Может быть, он явно преувеличивал силы бюрократов. Деду это вполне простительно, потому что в самой деревне Орешниках количество партийных, советских и комсомольских работников можно было сравнить с количеством кроликов в Австралии, где, как известно, они являются страшным бедствием для страны. И это только в районном центре. А сколько их по всему району?..

И вот в это утро привыкшие ко всяким зрелищам орешане высыпали на улицу посмотреть великое нашествие.

На подводах, верхом, на велосипедах, пешком, ехали, шли инструкторы райкома, штатные пропагандисты, работники многочисленных отделов райисполкома, комсомольские работники, парторги, уполномоченные, особоуполномоченные, теребильщики, инспектора, работники сельских советов. И кого, кого только здесь не было!..

На одном возу ехало сразу четыре уполномоченных. Рядом на коне без седла ехал штатный пропагандист. Он подгонял усталую лошадь битком набитым портфелем:

— Но! Проклятая!.. Откуда, товарищи?

— Из колхоза «За прочный мир, демократию и коммунизм во всем мире.» Организовали стрижку овец...

— Много настригли?

— Какой там! Оказалось — неточные сведения. Нет там овец. Месяц пробыли, ни одной не видели.

— Но!.. Не поела, так и идти не хочет. А не слышали, где Петрушкин?

— В этом же колхозе обследовал случай яловости коровы «Дуньки». Большой доклад, страниц на сто, составил.

— Петрушкин — ценный работник...

За возом легким пехотным шагом шел строй комсомольских работников.

— Откуда, ребята?

— Из сельсовета Тараканово. Организовывали борьбу комсомольцев за досрочное начало уборочной.

— Но!.. Пошла.. пошла.. переставляй ноги!.. Ну, как?

— Народа нет, работать некому...

— Беда, не хватает людей...

Отдельным табуном, размахивая портфелями и полевыми сумками, шли инструкторы райкома. Оттуда доносился разноголосый говор:

— Теревить надо. Главное, всегда за спиной стоять...

— Созвал, понимаешь, собрание, стукнул кулаком...

— У меня на лекции «Вопросы прибавочной стоимости в 1842 году в Англии в свете трудов Маркса» был такой случай...

— Лучше всего через каждые пять минут командовать: встать! Тогда не заснут...

— Здорово, Тришкин! Откуда?

— Ездил в колхоз «Радостный труд» уполномоченным по пуху и перу. Организовывал ощипку цыплят и кур...

— Куда прешь? Людей подавишь!

— Теснота, не пройти и не проехать...

Дед Евсигней, Мирон Сечкин и Бугаев сидели на скамейке у дедовой избы, курили и неторопливо переговаривались:

— Пылят, паразиты, как стадо. Света не видать...

— Вот же дармоеды! Смотри, смотри, вон тот... Эко харю разъел!

— Это штатный пропагандист райкома Матюков, — пояснил Сечкин.

Память деда была вместительна, как старорежимный сундук. Он прищурился, почесал пятерней в седой бороде и сразу же вспомнил:

— А не тот ли это Матюков, который в 28-ом году, при НЭПе, на Демьяновской ярмарке у цыган мерина украл?..

— Кажись, что-то в этом роде было...

— Ах, ты ж, ворюга! Смотри, как его разнесло!.. Помню, били тогда его цыгане пустой бочкой. Страх! Думали, что не выживет...

— Большой теперь человек Матюков. Его и сам Столбышев побаивается.

— Оно и не удивительно: жулик большой руки был! — заметил дед, погладил бороду, сосредоточенно хлопнул ладошкой по муже, усевшейся ему на лоб, но не попал. Он проследил ясными васильковыми глазами ее полет и улыбнулся:

— Провалили, паразиты, воробьепоставки, а тут еще и уборочная на носу... Раньше, бывало, в это время уже молотьбу добрые хозяева оканчивали, а тепереча еще и уборочной не начинали. Осыпается хлебушко на корню...

— Нам-то что? Обдерут до последнего и при плохом и при хорошем урожае. Пуцай осыпается, — Бугаев сплюнул длинной струйкой, не вынимая сигарки изо рта, выпустил клуб дыма и поинтересовался: — А сколько у них пойманных воробьев?

— А ни единого. Все подошли, — дед Евсигней неодобрительно покачал головой. — Оно хоть и птица Божья, а все ж кормить надо. Одно, знай, только проценты считают. В день по пять комиссий проверяет сколько процентов. А кормить некому. Поэтому, наверное, и созывали большое совещание. Сейчас будут штурм начинать.

— Ну, до штурма еще далеко, — высказал свое соображение Сечкин. — Штурм будет в последние пару дней. . .

Стихийный парад районной бюрократии окончился. Поднятая бесчисленным количеством ног, копыт, колес пыль частью осела на дорогу, частью, подхваченная ветром, понеслась, поклубилась по деревне, затмила собой солнце и, словно дымовой завесой, отрезала одну половину Орешников от другой.

Районный Дом культуры «С бубенцами» еле вместил в себя всех собравшихся на собрание. Сидя в президиуме Столбышев мигал отяжелевшими ресницами, с натугой пялил посоловевшие глаза и все время удивленно щупал себя за распухшую губу. Изредка, при особенно громком выкрике оратора: «Мы заверяем, что все будет выполнено!», он с болезненной миной на лице брался за голову.

По плану собрания должно было быть четыре доклада: Столбышев — «О состоянии районного сельского хозяйства и воробьеловства», Семчук — «О положении воробьеловства и сельского хозяйства в районе», Тырин — «Успехи и недостатки районного сельского хозяйства». Потом было запланировано сорок два выступления в прениях. И затем заключительное слово Столбышева. Запланированный пятый по счету доклад Маланина на тему «Сельское хозяйство и воробьепоставки района» был вычеркнут из повестки дня негодующим Столбышевым: нечего болтовней заниматься, работать надо!

Столбышев провел свой доклад на редкость быстро. Он говорил всего сорок минут, говорил с большими паузами, выпил два графина воды и несколько раз, намочив носовой платок в стакане, обтирал им свою обритую голову.

Первую часть доклада, «Ура!»-часть, Столбышев пролежал грудью на трибуне. А во фразе «невиданные, неслыханные, бурные достижения достигнуты нами благодаря руководству г... г... г...» — вместо слов «горячо любимой партии», Столбышев скуловоротно зевнул. Окончив зевать, он попробовал произнести «горячо любимая», но преодолеть букву «г» не смог и опять зевнул. Заметив, что Семчук что-то записывает в блокнот преподло улыбаясь, Столбышев не рискнул в третий раз испытывать счастье на «горячо» и объехал его на кривой — «жарко любимой партии», — сказал он.

Во второй части доклада — «Долой!» — он несколько оживился и с возмущением припомнил, что водку изобрели капиталисты для спаивания трудящихся. «В новом коммунистическом обществе мы искореним этот пережиток проклятого капитализма!» — безапелляционно заявил он, и всем показалось, что тень нежной грусти пробежала по его лицу.

«Пить надо уметь!» — сразу же перешел он к третьей критической части. — «Хорошо работают наши руководящие товарищи. Они достигают больших успехов, уверенно двигают хозяйство района вперед. Но, опять повторяю, пить надо уметь. Взять, например, товарища Буянова. Напился, подрался, вывернул телегу в канаву. Ай-ай-ай! Нехорошо так. Ты, Буянов, если пьешь, то хоть закусывай, оно тогда не так, того этого, берет», — уверенно добавил Столбышев и стал предаваться собственным воспоминаниям: «Бывает так. Приедет руководящий товарищ в колхоз, день пропьанствует и слова дельного не скажет. Нажрет, напьет и укатит. Нехорошо так! С этим надо бороться».

ся! Предлагаю объявить товарищу Буянову выговор, а Маланину — строгий выговор!.. Пусть в другой раз смотрит, чтобы Буянов не напивался!..»

Маланин вначале что-то жалобно пискнул, но потом посмотрел, как зона отчуждения расползается вокруг него, словно раковая опухоль, и сам проголосовал за строгий выговор себе же.

Четвертую часть речи Столбышев смазал, а вместо нее для проформы несколько раз прокричал «ура!» и слез с трибуны.

Теперь он сидел в президиуме и делал вид, что слушает выступающих в прениях. По неписаному, но свято чтимому закону коммунистических собраний, докладчики могут сами писать доклады и давать их на редакцию и утверждение старших инстанций. Что же касается выступающих в прениях, то их дело читать с бумажки то, что им дано вышестоящей инстанцией. Все, что говорилось в прениях, было еще три дня назад продиктовано Столбышевым Раисе, и он томился, слушая бесконечное повторение собственных слов.

Но вот на трибуну вышел старичек в приличном пиджаке, с аккуратными латками на локтях. Седенький и с висячими усами. Он достал очки в оловянной оправе, не спеша нацепил их на нос, далеко на вытянутых руках подержал текст выступления в прениях, пошевелили губами и снял очки. По залу прокатился неодобрительный гул. А Столбышев покачал головой: «Доиграешься ты у меня, Егоров!..»

— Может быть, я поступаю и плохо, — начал спокойным и вразумительным тоном Егоров, — может, лучше мне, как и другим товарищам, читать по бумажке. Но зрение у меня слабое и лучше уж я скажу все своими словами. Ну, что я могу сказать в прениях по докладу товарища Столбышева и других, повторивших его доклад, товарищей? Может, я стар и мало разбираюсь, но я понял только одно, что после выпивки надо закусывать...

— Осторожней на поворотах, товарищ Егоров, — грозно предупредил его Столбышев.

— Да я уже как-нибудь постараюсь, — ответил Егоров и тут же добавил: — Я в партии с девятьсот пятого года. У многих из присутствующих товарищей в то время мамы еще в куклы играли, а у некоторых еще не родились на свет. Так что насчет поворотов меня предупредить не стоит...

— В карете прошлого не поедешь! Работать надо! — перебил его Столбышев.

— То и я говорю: работать надо! Вот возьмем, к примеру, вопрос — уборочная. Как убирать, если МТС обязалась прислать машины, да не присылает? Наш же инвентарь недостаточный, рабочих рук мало. Сами знаете, сколько народа сбежало из колхозов в города. Не от хорошей, конечно, жизни.

— Как это понимать? — спросил Столбышев.

— А понимаете, как знаете...

— Безобразия!.. Куда он загибает?!.. Мало их, старогвардейцев, ликвидировали во-время! — пронесся гул по залу.

— Ваше время истекло! — официально заявил Столбышев Егорову.

Старый большевик, один из чудом уцелевших от чистки экзем-

пляров давно отмершей породы, пожал плечами и отступил перед новым поколением партийцев. Вокруг вернувшегося на место Егорова, как и вокруг Маланина, образовалось пустое пространство.

— Заключительное слово предоставляется товарищу Столбышеву! — возвестил по все возрастающей лестнице восторга Семчук, и вспыхнувшая овация чуть не сорвала крыши здания.

— Товарищи! — начал Столбышев более живо, потому что овации аудитории явно выбили из его головы последний хмель. — Товарищи! Невероятные, невиданные, бурные успехи...

Автор выбрасывает девяносто девять процентов речи Столбышева и дает один процент, который, собственно, и касается дела.

— Надо поднять воробьепоправки на должную высоту. Не следует забывать и уборочную. Надо каждую минуту бороться за выполнение заданий. А вот, например, что делает, как работает товарищ Буянов? — перешел к вопросам Столбышев.

— У меня на завтра назначено общее собрание колхозников...

— Какое по счету?

— Одиннадцатое!

— Сколько птиц поймали?

— Три!

— Плохо работаете. Побольше уделяй внимание массам. Окончишь завтра собрание, созывай новое на послезавтра. Убеждай, тереби, иначе не вылезешь из прорыва, — напутствовал Столбышев. — А теперь, товарищи, надо по-настоящему подойти к воробьепоправкам. Уборочную и так вытянем... Вытянем, товарищи?..

— Вытянем! — в один голос отозвался зал.

— Ну, значит, главное — воробьепоправки, — решил Столбышев.

— Главное, послать надежных руководителей теребить колхозы, и чем больше их там будет, тем больше будет результатов. Кого посылать?

— Товарища Матюкова! Он показал себя на работе. Три месяца проработал в колхозе «Счастливая жизнь» старшим особоуполномоченным по соломе и отгрузил два воза соломы. Надежный работник!..

— Есть, приняли кандидатуру Матюкова к сведению, — по-деловому ответил Столбышев. — Кто следующий?

— Предлагаю товарища Тришкина. Отличный работник. Зарекомендовал себя, как хороший организатор по оципыванию цыплят и кур...

— Есть, приняли кандидатуру Тришкина к сведению. Кто еще хочет предложить?..

К концу собрания, продолжавшегося тридцать шесть часов, Столбышев констатировал, что кадра руководящих работников района для организации воробьепоправок не хватает, и вздохнул: маловато у нас руководителей! Но сразу же с хода предложил:

— Придется привлекать на руководящую работу рядовых членов партии и комсомольцев. Какие есть кандидатуры?

— Тут в парикмахерской работает партиец товарищ Марохобутянц, убежденный армянин и по-русски умеет только «пострычь?» «побрить?» На-адежный человек.

— Назначить уполномоченным по воробьепоправкам в колхоз «Ленинский путь», — резюмировал Столбышев.

— Предлагаю кандидатуру банщика Мочалкина!

— Есть, учли Мочалкина, — эхом отозвался Столбышев...

В общем, для руководства воробьепопоставками было выделено более четырехсот проверенных партийцев и комсомольцев.

— Из Москвы пришел план заготовить тысячу воробьев. Сколько дадим встречный план? — с видом победителя спросил Столбышев собрание.

И понеслись выкрики:

— Три тысячи!..

— Пять тысяч!..

— Десять тысяч!..

Неизвестная астрономам звезда высоко поднялась в небе и засияла нестерпимо ярким светом. Но никто из ученых мужей сфотографировать ее не успел: она мгновенно потухла и осталась на ее месте неуютная межпланетная пустота

ГЛАВА XII

ТЕОРИЯ РЕДАКТОРА МОСТОВОГО

Сделать из мушиных достижений слоновые успехи, несомненно, тяжело. Для этого надо обладать незаурядными пропагандными способностями. Такими способностями обладает большинство советских газетных и журнальных работников. Но представить обыкновенного, серого воробья в виде основы новой эры куда тяжелее, и не всякий из тертых, битых и мытых в сотнях вод советских журналистов справился бы с этой поистине титанической задачей. Для этого надо быть гением чернильно-бумажного обмана. И редактор «Орешниковской правды» Мостовой блестяще справился с возложенной на него Столыбшевским задачей. Планомерной ложью, ловкими манипуляциями историей, подтасовыванием фактов, умелым подбором цитат из трудов Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина он неопровержимо доказал, что воробей — самое полезное существо из всех когда-либо живших на земном шаре; что все прогрессивное человечество всегда пыталось использовать его неценные качества, а враги социализма и прогресса всегда тормозили и мешали этим благородным порывам пролетариата. Кроме того, Мостовой сделал большой вклад в лексикон ругательств и эпитетов советской пропаганды. Это объемистое пособие каждого советского пропагандного работника пополнилось такими перлами, как: «капиталистические воробьененавистники», «заговорщики против воробьиной культуры», «изверги рода воробьиного», «поджигатели мирных воробьиных гнезд», «классовые яйцедавы», «воробьеубийцы с Уолл стрита» и рядом других не менее сочных и образных ругательств, без которых невозможно теперь было произносить речи или читать лекции даже на самые отвлеченные темы, как, например, «Влияние трудов Маркса на планомерность лунных затмений.»

Да, Мостовой был пропагандным гением! Его остро отточенное перо могло и жалить и ласкать. Он умел при помощи чернил заставлять людей смеяться и плакать. Он мог с одинаковым успехом доказать несуществующее и разубедить в существующем. Несколькими словами он рисовал целую картину, а несколькими фразами описывал многолетнюю и сложную жизнь человека. Но талант Мостового явно пропал. Если бы он не посвятил себя журналистике и стал писателем, кто знает, может быть сокровищница мировой литературы обогатилась бы четвертым томом «Войны и мира» или вторым томом «Мертвых душ». Может быть, Мостовой отошел бы от привычки писателей подражать знаменитостям и написал бы собственное произведение, равно-

ценное «Отелло» или «Королю Лиру». А может быть он ударился бы в поэзию, и полногрудая Муза нашептала бы ему на ухо новую поэму-эпос «Маруся отравилась». Все могло быть, но ничего этого не случилось благодаря странной и оригинальной теории Мостового, которую он положил в основу своей жизни.

Что это за теория, так пагубно отразившаяся на отечественной и мировой литературе? Была ли она правильна? Не заблуждался ли Мостовой, доверившись собственным чувствам и мыслям?

Пусть на все эти вопросы ответит сам Мостовой.

И вот что рассказал Мостовой поэту Ландышеву о своей теории, сидя ночью в редакции «Орешниковской правды»:

— В мире существует бесчисленное количество самых разнообразных профессий. Есть профессии древние, как сам мир: солдат, вор, политик и другие. Есть профессии, возникшие значительно позже, вследствие роста человеческой цивилизации: шофер, фотограф, летчик, банщик и другие. Рост науки и техники, все время двигая жизнь вперед, создает все новые и новые профессии: атомных специалистов, жуликов по ремонту телевизоров, инженеров межпланетных кораблей, регулировщиков воздушного движения и рекламных специалистов, которые, проклиная свою жизнь, вынуждены пить перед миллионами телезрителей мутную бурду и чмокать от восхищения языком. И вот, если задать вопрос: почему же все эти тысячи и тысячи профессий существуют, то надо притти к выводу, что все они существуют лишь потому, что дают возможность человеку жить. Если политику будут мало платить и он не сможет жить, то он скорее возьмет за продажу весьма проблематичного средства от мозолей, чем будет и дальше заниматься политикой.

Если вор будет таскать из карманов граждан кошельки, наполненные вместо денег адресами друзей, у которых можно занять, то он не обрадуется пометкам «с возвратом» и «без возврата». Он бросит свое древнее и любимое ремесло и поступит агентом в уголовный розыск.

Если электронному специалисту будут мало платить, то он сразу же переквалифицируется на более прибыльную профессию жулика по ремонту телевизоров.

И так везде, в каждой профессии. Если она перестает приносить средства к существованию, то она уходит в область предания. Так, например, не стало алхимиков. Современные нравы сильно сократили количество проституток. Древняя профессия палача ликвидирована партийным долгом. Шуты, не выдержав конкуренции чиновников, прекратили свое существование. Учителя хороших манер, не имея средств на покупку носовых платков, долго сморкались в кулак и оставили свое ремесло.

А дорожные разбойники, правильно оценив современное положение, переквалифицировались на работников РУД*), штрафуют кого попало и живут себе припеваючи.

Среди представителей всех существующих профессий, среди всех, соответственно труду или безделью оплачиваемых людей, единствен-

*) РУД — регулировка уличного движения.

ная профессия, профессия писателя является исключением из общих правил и стоит безмолвной укоризной. Это исключительно тяжелая, связанная с невероятными затратами энергии профессия. Писатель не прекращает своей работы даже во сне. Он просыпается ночью, чтобы записать родившуюся мысль. Он ни на минуту не прекращает думать, творить и поэтому постоянно не замечает ничего вокруг: он идет по улице, натывается на столб и говорит «извините», он занят своими мыслями и у него нет даже времени обругать столб; он долго засиживается в общественных местах, и люди стучат в двери, мешают ему думать, а потом эти, ничего не понимающие в творчестве, субъекты разрешают себе насмешки: «Вы что? Заснули?» Погруженный в творческие размышления писатель не замечает, как ему изменяет жена, и идет по рассеянности к жене другого человека; он часто забывает есть и только пьет. Писатель живет своей творческой профессией, но редко кому из них творческая профессия давала возможность жить. Девяносто девять и девять десятых процентов всех писателей, день и ночь посвящая себя литературной работе, живут все же за счет другой работы. Такого положения вещей невозможно встретить ни в одной профессии. И такое совершенно немислимое положение уходит корнями вглубь истории.

Великий вождь племени пещерных людей, которому надоедал писк и ругань собственных жен, шел отвоевывать жен в соседнем племени, наивно думая, что те не умеют ни пицать, ни ругаться. Сзади толпы пещерных людей плелся первый писатель в истории — пещерный летописец. Он тащил на себе тяжеловесные пишущие принадлежности, обливаясь потом, и его еще ругали: «Мы идем воевать, а ты, бездельник, только и знаешь камнем на камне грамматические ошибки делать!» Когда шел бой, его тоже заставляли крушить соседские головы каменным пером: потом, мол успеешь записать, невелико дело. Когда кончался бой, его заставляли утешать соседских вдов и уговаривать их стать женами победителей: «У тебя хорошо язык подвязан». Когда победители с новыми женами спали, он всю ночь напролет бил камнем по камню, и летели в него кости и комья грязи: «Не мешай спать!» Когда победители под ручку с новыми еще ласковыми женами шли домой, он опять тащил на себе многопудовый лист эпоса.

Потом вождь племени просил его прочесть летопись и, по мере чтения, морщил поцарапанный новой женой нос: «Врешь ты все! Неправильно описываешь. Искажаешь историю. Я не прятался за камнями, а, как лев, дрался в первых рядах!» — «Позвольте, а кто же на четвереньках лез?..» — «Ты лучше перепиши, а то огрею тебя дубиной, так узнаешь, кто на четвереньках лез!» — «Да, но правда...» — «Правда, это — я!», — с прямою пещерного человека объяснял вождь, вышибая писателя коленкой из пещеры и обретал блаженный покой: — «Уж эти мне писатели!». И никем не кормленный писатель садился со вздохом за переделку летописей, согласно указаниям вождя, не задумываясь над тем, какое он делает преступление перед историей и за какие блага он занимается неблагодарным своим ремеслом.

Так продолжалось несколько лет. Писатели влачили жалкое, голодное существование. Потом писателям несколько подвезло: они лично заработали на росписи египетских пирамид и, окрыленные успехом, некоторые из них легкомысленно бросили прибыльные профес-

сии парикмахеров и портных. Но египетская халтурка скоро окончилась и писатели остались опять на бобах. Особенно трудно пришлось тем, кто пропил парикмахерский инструмент и раздарил по доброте душевной иголки и нитки.

На протяжении следующих тысячелетий писатели бедствовали, голодали, глотали на ярмарках всего мира горячую паклю, с отвращением перепродавали краденое, работали сапожниками, лудильщиками, плакальщиками на похоронах и, вообще, занимались чем угодно, кроме литературы. Некоторые писатели за это время так отвыкли от своей работы, что родились и умирали безграмотными.

Потом опять на некоторое время настала золотая пора литературы, но не литераторов. Под солнцем Греции многие писатели трудились и создавали классические произведения, и большинство из них было создано натошак, о чем неопровержимо свидетельствует факт, что произведения той поры писались стихами — вид творчества, доступный только воображению. Спасибо грекам хоть за то, что они читали.

А вот в древнем Риме с писателями обходились по-хамски. Носатые патриции скормили несколько писателей-богословов львам, которые так и не разобрали, кого они съели. Они же, не посчитавшись с тем, что Юлий Цезарь был патриций, пырнули его ножом за то, что он написал грамматическое сочинение «Об аналогии». Они поймали на базаре талантливое писателя и римского гражданина Кая Маркуса Юлия и накостьляли ему по шее. Кай обиделся и не писал ничего ни для современников, ни для потомства, а продолжал продавать на базаре украшения из чистого золота, сделанные из нечистой меди. И только единственно кому в древнем Риме повезло на литературном поприще, — это Цицерону, и то потому, что благодаря дару речи он успешно выговаривал авансы, а посему мог творить.

Еще хуже стало писателям, когда Рим уничтожили варвары. Когда какой-нибудь изголодавшийся поэт или писатель усаживался около стана варваров, нюхал доносившиеся оттуда запахи жареного мяса и, глотая непроизвольно выделяющуюся слюну, наигрывал на позолоченной лире и тихим голосом пел: «Урзун Бутал, сын солнца и царь неб, он покорила могучий Рим в два дня», — грубые варвары хватили его и нещадно били за ложь. Они не понимали, что в творчестве нет лжи, что жизнь, перемолотая эмоциями автора, выглядит в произведении по-другому и Урзун Бутал, этот внештатный каптенармус третьеразрядного обоза, кажется голодному автору сыном солнца. И если бы автор написал правду, что Урзун Бутал украл в обозе конскую ногу и продал ее на черном рынке, это было бы не творчество, а полицейский протокол.

В общем, при варварах творить было невозможно. Когда варвары несколько цивилизовались, жить писателям стало еще тяжелее. Они спали в трактирах на собачьих подстилках, питались объедками и должны были писать о сказочных рыцарях, пышных балах и умытых принцессах. Не видя ничего подобного в жизни, они стали вилять перед требовательным читателем и писали аллегориями — из расчета, что умные все равно ничего не поймут, а дураки промолчат. Но расчет не всегда оправдывался. Писателей третировали, не доверяли им и никогда не давали денег на покупку бумаги и чернил, а приносили

им бумагу и чернила на дом, со строгим предупреждением не пропивать.

Позже появились издатели. Они принципиально не давали писателям авансов. Еще позже появились критики, которые требовали у писателей взятки или поносили их на чем свет стоит. Еще позже появились кладающие ножницами цензоры и редакторы, которые сами ничего не могли писать, но считали своим священным долгом перевернуть и испоганить произведение писателя. И так на протяжении всей истории, от каменного века и до наших дней, писателям, что ни день, то хуже.

— Я вижу перед моим взором, — продолжал Мостовой, глядя, как замороженный, в темный угол редакционной комнаты, — тысячи и тысячи писателей и поэтов всех времен. Они все жалкие, оплеванные, оборванные и забросаны комьями грязи. Даже те из них, которые, вместо терновых, носят на лысынах и буйных кудрях лавровые венки, и эти немногие счастливики стоят оборванные и грязные. Это — последствия читательского внимания, следы критики, цензуры, сплетен и злопыхательства. Если взять сейчас и потрусить всю эту пишущую братию, то на пол выпадет несколько мелких монет, случайно завалившихся за подкладки тог, фраков и пиджаков. Если встряхнуть литераторов вторично, то на пол со звоном посыпятся пустые бутылки и шкалики, выпитые с горя и хранимые в писательских карманах на предмет обмена на закуску. Если их взять за петельки и еще раз встряхнуть, то на пол бумажным ливнем посыпятся долговые и кабальные записки, и кредиторы обступят писателей и начнут бросать в них грязь и камни. Вот что они за все века, за все свои жизни заработали! Вот что они получили, заполнив все библиотеки мира десятками миллионов томов книг — своих мыслей, чувств, образов, взлетов фантазии и благих намерений.

Кто? Люди какой профессии способны на такой безвозмездный подвиг, на такое бескорыстное служение человечеству? Писатели — люди материально отверженные. Они, живя впроголодь и добывая средства для жизни всем, кроме литературы, на протяжении тысячелетий создавали и создают человеческую культуру. Они раскрывают характеры, описывают события, бичуют пороки и поощряют проявление хорошего, человеческого. Они указывают на ошибки творцов истории, учат человечество жить, а сами не могут даже существовать.

Почему критик, за день распушив книгу, которая страданиями и муками создавалась годами, может совсем недурно жить, а писатель прозябает?

Почему артист, читая фальшивым голосом стихи поэта, ест хлеб с маслом, а поэт, с трудом вырвавшись из объятий страстной Музы, бежит к нему занимать гроши для поддержания иссякших сил?

Почему Шекспир бегал от кредиторов и боялся даже ходить в церковь, чтобы его не арестовали за долги?

Почему Стендаль голодал, Сервантес сидел в тюрьме за долги и умер в нищете?

Почему Достоевский умер в долгах?

А историки, ковыряясь в их рукописях, собирая их письма, искажая их биографии, живут значительно лучше, чем они жили. . .

Сколько больших, Божьей милостью, талантов погибло по неми-

лости человеческой во все века и у всех народов? Сколько от этого потеряла мировая культура? Ведь великие писатели, может быть, были не самые талантливые люди. Может быть, были и поталантливее их.

— Помнишь, Ландышев, — Мостовой тронул Ландышева за рукав, — помнишь, я говорил о римском гражданине Кае Маркусе Юлие? Это моя выдумка. Просто хотел экспромтом придумать римскую фамилию, да не нашелся сразу и вставил первую попавшуюся на ум. Но в этой выдумке большой смысл. Я глубоко уверен, что он жил в древнем Риме, как жили и живут сейчас во всех странах талантливейшие люди, которые всю свою жизнь носили в голове гениальное произведение и никогда не могли его записать из-за вечной потребности в куске хлеба на сегодняшний день.

Я также глубоко уверен, что был в истории какой-то сверх-Шекспир, с большими трудностями он написал свой шедевр, заложил его кабатчику за шкалик и погиб в долговой яме. А произведение его кабатчик пустил на растопку, или завернул в него селедку.

Теперешняя мировая литература богата случайно уцелевшими произведениями или произведениями счастливых, имевших возможность писать. Имели бы мы сейчас «Войну и мир», если бы отец Льва Толстого, граф Николай Толстой, пропил родовое имение «Ясную поляну» и оставил сыну в наследство только свой родовой портрет? Толстой писал десятилетия одну книгу, и не будь доходов с имения, не было бы и такой «Войны и мира», которую мы сейчас читаем.

А «Братья Карамазовы», это гениальное творение Достоевского? Насколько оно могло быть еще лучше? Ведь Достоевский в большинстве не писал, а диктовал наспех стенографистке, спешил сбыть произведение с рук и заткнуть глотки надоедливых кредиторов.

А Чехов? Умный, милый Чехов! Как он извинялся за шероховатости в замечательной повести «Бабы», объясняя недоделки тем, что он должен был спешить в надежде скорее получить хотя бы пятерку, чтобы семья его не померла с голода.

А ведь все вышеперечисленные писатели были счастливыми по сравнению с другими, погибшими безвозвратно талантами. Они все же имели возможность писать. Их хоть узнали и отметили. . .

— Почему люди не узнают талантов? — прервал вопросом Мостовой Ландышев и провел рукой по своим кудрявым волосам.

Мостовой, сдерживая улыбку, отвернулся в сторону, потом блеснул воспаленными глазами и серьезно посмотрел на Ландышева:

— Люди узнают таланты, так же как они узнают золото и ценные камни, — начал он тихим и усталым голосом. — Но сколько было бы золота и ценных камней во всех банках мира, если бы их не искали специально? Их ищут, а писателей никто не ищет. Попадется на глаза понимающему человеку, — ведь не всякий отличит золото от простого металла, — его счастье. Не попадетсся — и нет его, словно не жил. Непризнанные таланты долго не живут, потому что искра творческого горения, не находя выхода, испепеляет человека, потому что гениальные мысли при успехе придают человеку крылья, при неуспехе они превращаются в камень на шее.

Кроме того, что же такое талант? Можно ли сказать, что «А» талантливо пишет, «Б» пишет бесталанно? Может быть наша культу-

ра и утонченность мысли просто не доросли до творчества «Б»? Гениального Стендаля при жизни не считали талантом, и только через сто лет после его смерти человечество поднялось до его уровня и оценило его. А может быть рукопись другого человека, выброшенная редактором в корзину за негодностью, являлась тем произведением, для оценки которого нам надо жить еще сотни лет?

А сколько талантов испортили тем, что советовали им писать подражания модному писателю, одуванчику славы? Зачем для культуры подражатели, когда вся ценность в самобытности творчества? Зачем нам копия Шекспира, когда человек, способный скопировать Шекспира, значительно ценнее как оригинальный писатель?

Поэтому, Ландышев, пишите всегда так, как вам подсказывает ваше сердце. Не старайтесь понравиться. Не подделывайтесь под вкусы случайно встретившихся вам людей. Помните, что оценки вы никогда ни сами, ни даже ваши внуки, не получите. Ведь, по существу, успех писателя может быть оценен только несколькими поколениями, когда произведение прочно вошло в список долговечных ценностей. Успех сегодня и забвение завтра — хуже всякого неуспеха, потому что раз упавшее никогда не подымется. А любой неуспех сегодня дает надежду на успех завтра, через год, через столетие.

— Слава... слава... — Мостовой горько улыбнулся и закашлялся. Кашлял он долго, тяжело, с хрипом. Свинцовая пыль примитивной орешниковской типографии давно разъела его легкие, и он жил еще каким-то чудом. Словно что-то, глубоко спрятанное в его груди, удерживало его в жизни. Он вытер посиневшие губы платком и еще долго не мог говорить, судорожно глотая воздух. А глаза его, серые, в темных глубоких орбитах, уже продолжали разговор: они мерцали, как потухающие звезды и загорались вспышками смеха.

— Возьмем, к примеру, генерала Стоеросова и его противника генерала фон Шинкенкопф, — начал говорить Мостовой хриплым голосом. — Оба генерала одинаково бездарно планируют сражение, все их расчеты летят к чертям собачьим. Ведь бой всегда развивается, как угодно, но никогда не по планам. Тем не менее, обоих генералов венчают славой великих стратегов. Еще перед самым началом сражения оба великих стратега поспешно бегут в глубокий тыл и прячутся в надежные норы. Все время боя, которого они не видят, оба генерала посылают приказы, несоответствующие обстановке, и губят напрасно тысячи людей. Затем какой-то неизвестный офицерик, послушавшись дурацкого приказа Стоеросова, начинает действовать по-своему. И он, этот маленький, которого потом никто даже не вспомнит, производит перелом в ходе сражения. Войска фон Шинкенкопфа отступают.

После этого оба генерала пишут поразительно одинаковое донесение командованию. В обоих донесениях, и победителя и побежденного, пишется: «Такого-то числа, у города такого-то я разбил численно превосходящие войска противника наголову. Противник понес большие потери в людях и технике. Потери моих войск незначительны.»

Дальше донесения несколько разнятся по содержанию, но оба сохраняют победный тон. Стоеросов пишет: «противник панически бежал.» А фон Шинкенкопф пишет: «Разбив противника, я, в целях выравнивания фронта, оттянул свои войска в полном порядке на более удобный рубеж.»

Ну, а дальше в обоих донесениях уже нет никаких расхождений ни в тоне, ни в содержании: «Положение противника критическое,» — пишут оба, — «и разгром его неминуем. Умелыми и героическими действиями вверенных мне войск отечество спасено.»

Умилительное во всем этом балагане то, что генералы пишут «я наступал», «я атаковал». Образец скромности: «я», которое боится фронта хуже, чем противника, после боя оказывается главным участником всего сражения. Ну, и в довершение всего, обоих генералов, Стоеросова и фон Шинкенкопфа, награждают орденами, они купаются в лучах славы, их осыпают милостями и потомки вспоминают их с благодарностью: о! это был легендарный герой!

И смех, и горе. Вот тебе и слава. Немеркнущая слава военачальника.

И я спрашиваю тебя, Ландышев, можно ли сравнить возможности в достижении славы генерала и писателя? Писатель — это настоящий полководец. Он расставляет персонажи на места, планирует тактику и стратегию боя за душу читателя. Он не прячется за спины других, он смело выходит на самый передовой край фронта и вкладывает в уста созданных им людей свои слова, заставляет их передавать читателю свои собственные чувства — любовь и ненависть, смех и слезы; он ведет подкопы и лобовые атаки против человеческого зла и часто без всякого стеснения порицает такие сокровенные пороки, которые могут быть известны только носителю их. Он всем огнем своего сердца поддерживает наступление добра на зло, сторает живьем в бою, но побеждает. . . — длинная фраза утомила Мостового и, окончив ее, он заговорил тихим проникновенным голосом:

— Если бы писателям дали такие возможности, как генералам, как бы весело забурлила жизнь на планете, какими бы лишними показались войны, классовая вражда. Как легко было бы людям, освобожденным от власти зла, работать, строить счастье для себя и для других. И каким бы близким и родным для всех показалось учение самого человеческого из людей, любвеобильного, кроткого страдальца Христа! . . . Не улыбайтесь, Ландышев, вам не должно быть смешно, что редактор советской газетки, член партии Мостовой славит Христа.

— В начале моего рассказа я дурачился, — заметил Мостовой с мягкой и грустной улыбкой. — Иногда дурачиться надо. Даже больше того, дурачиться надо именно тогда, когда ты хочешь, чтобы серьезная, важная мысль не прошла мимо ушей слушателя, не потонула в скуке сухого изложения. Смех, это — сладкая облатка для любой невкусной, но лекарственной мысли. И если необходимо излечить человека, не пичкай его тем, что ему кажется невкусным. Оберни все в смех, человек проглотит, поблагодарит, а потом, когда лекарство подействует, еще раз поблагодарит. Но, когда я говорю о Нем, о самом человеческом, ступавшем по нашей земле, я не могу смеяться, переделывать все в шутку. Это не ханжество. Это не уловка, прикрывающая циничную и бездушную сущность истовым крестом с закатыванием глаз к небесам.

Я не знаю, поймете ли вы это, но когда я думаю о Нем, я вижу миллиарды и миллиарды людей от древних времен до наших дней. Я мысленно представляю себе склонившиеся головы, лица полные веры, надежды, мольбы, просьбы, слезы радости, слезы самые сладкие

из всех — слезы искупления. Я знаю, что на протяжении почти всей истории человечества к Нему сходились все многочисленные грани мыслей и помыслов людей и, соприкоснувшись с Ним, излучали невиданный по красоте и чистоте блеск, брильянтовую игру всех лучших сторон человеческих душ. Вот поэтому, при одной мысли о Нем, у меня захватывает дыхание, я не могу смеяться, я только благодарно улыбаюсь Ему за все, что Он сделал для нас. Может, вам все это непонятно? . .

Поживете, посмотрите жизнь и людей, пройдет и у вас пора восхищений громкими фразами, перестанете и вы верить в социалистические формулы ненависти и уничтожения одних, ради призрачного счастья других. Время и опыт откроют вам глаза и научат вас видеть жизнь.

И вот тогда, оглянувшись вокруг, вы поймете, что в атомный век не надо трудиться над созданием каменного топора и провозглашать этот топор вершиной всей мысли, науки и техники. Вы поймете, что творцы социализма и прочих, владеющих думами некоторых людей учений, создали нечто потупее и поглубее каменного топора по сравнению с тысячелетним совершенным учением Христа об основах человеческого общежития. И если что-нибудь на склоне лет потревожит вашу душу, наполнит ее тихой верой в будущее человечества, так это будет учение Его.

Мостовой умолк и вытер платком бледный, вспотевший лоб. За окошком брезжил рассвет. Уже было видно в полосах ползущих змеями утренних туманов синюющую каемку далекой тайги, огромной, тяжело проходимой и таинственной, как сама человеческая жизнь.

— Скажите, Ландышев, вы верите в Бога? — спросил Мостовой и пытливо посмотрел на поэта.

Тот как-то сразу будто бы сжался и после небольшой паузы ответил:

— Не знаю.

— Значит, верите, — улыбнулся Мостовой. — Тот, кто сомневается, никогда не станет неверующим, но может быть самым большим праведником, а тот, кто верит безотчетно, может перестать верить.

Сомневающийся способен думать, а мысль и только мысль и есть основа религии.

Вы знаете, Ландышев, на чем построена наша антирелигиозная пропаганда? . . На внешнем эффекте, который воспринимается глазом, а не мыслью. Помню, один из антирелигиозников меня просвещал: вот, плюну на икону и ничего мне не будет. И плевал. Больше того, рубил иконы топором, жег их на костре и танцевал вокруг огня, стреляя из нагана. Это было в самом начале советской власти. Я тогда был еще юноша. Я посмотрел и поверил: нет Бога!

Прошло много лет. Я научился думать. И теперь я понимаю, к чему тогда стремился антирелигиозник, вернее, не он — он был круглым дураком, — я понимаю, к чему стремились тогда вожди коммунистической партии. Они призывали рубить иконы, убивать в людях веру, потому что их человеконенавистническое куцее учение — пигмей, по сравнению с вечным учением Христа о любви, справедливости, душевной чистоте. Это великое учение является неисчерпаемым источником

силы и веры в своего ближнего, в будущее, источником всего, без чего нельзя, — вы понимаете? — нельзя жить!

Мостовой вытер платком выступивший на лбу пот и продолжал: — Нет! Они религию не убьют. Помните, как во время войны, почуввав смертельную опасность, они сами открыли церкви, чтобы отогреть огнем тысячелетней веры замороженные сердца людей, не видящих, ради чего они будут сражаться и не хотевших сражаться за несколько томов Маркса и других писак. Этим они показали свою духовную немощь.

Теперь даже слепой видит, кто сильнее.

И настанет еще такое время, Ландышев, когда человек, встретив другого, спросит: «Ты христианин?» «Христианин», — ответит другой. И больше ничего им не надо будет спрашивать, чтобы узнать друг друга, и каждый из них доверится другому полностью, без страха, и будут они, как братья. Это время настанет! Оно будет, будет!

Ты понимаешь, Ландышев, оно должно быть, потому что иначе мы, люди, съедим друг друга. Съедим так же, как ест у нас член партии другого члена партии и как сожрали уже миллионы партийцев. Так же, как сейчас ты можешь меня съесть, написав донос, что Мостовой мол говорит крамольные речи. Напишешь?!..

— Я знаю, что не напишешь, — не дождавшись ответа продолжал Мостовой. — Столбышев написал бы... Маланин, которого, может быть, сейчас сожрали, тоже написал бы. Они — партийцы по духу: властолюбивые бездельники, тупицы, которым без партии единственное место — навоз возить. На коммунизм им наплевать, и они в него не верят так же, как и мы с тобой. Но попробуй сказать, что их кормилица-партия нехороша, что вся система — блеф. Горло перегрызут!.. А вот Егоров, старый партиец с девятьсот пятого года, этот — овечка, заблудившаяся в волчьей стае. Он — подвижник в публичном доме.

— А я кто? — спросил Ландышев.

— Ты просто человек. Ты любишь свои стихи, как мать своих детей, и как мать идет ради своих детей продаваться, так и ты, ради того чтобы печатали твои стихи, продаешься. Только тут уже не то. Ты себя обманываешь, как обманывают себя все советские писатели.

Пожалуй, в Советском Союзе для писателей созданы небывалые еще в истории мира условия. Наконец-то, благодаря советской власти, появились писатели-миллионеры. Некоторые за одну книгу миллион получают. Только пиши да пиши... Но, что пиши?.. То, что ты думаешь, или то, что написано в очередном постановлении ЦК партии? У советских писателей кастрировано творчество. Их произведения оплодотворены чужим семенем и не похожи на своего отца, не содержат никакого отцовского наследия. Писатель, поэт ничему в своих произведениях читателя не учит. Учит партия, а писатель лишь ищет персонажи и форму, как передать это учение. Передал — хорошо, получил кучу денег за литературную проституцию. Не можешь передать, способен только своими мыслями кормить читателя — коленкой под зад! Не просто на улицу, а подальше, в концлагерь: раз есть свои мысли, значит, опасный человек. Сколько наших писателей было расстреляно, послано на гибель на Колыму, Магадан только за то, что они писали от души, а не по партийной указке? Поэтому те, кто жи-

вет, пишет, ловко подделываясь под линию партии, те уже не писатели, это литературные ландскнехты, подхалимы, приживальщички, наемные шуты и плакальщички.

Таким я не хочу быть. И я не буду писать, пока мое творчество будет служить средством перепевания чужого и ненавистного мне. Вы вправе, Ландышев, спросить меня: хорошо, Мостовой, вы стали в позу, вам нужна свобода творчества и вы не пишете книг. Но зачем же тогда вы пишете газетные статьи? Ведь это тоже творчество и очень даже несвободное.

Наверное, вы хотите меня спросить это? . . . Да, Ландышев?

— Да.

— Чудно. Начнем хотя бы с того, что очень много писателей занимались газетной стряпней, чтобы получить средства и вести серьезную литературную работу. Я к этой категории не отношусь. Зачем же я тогда работаю в газете?

Не задумывайтесь над ответом, все равно не угадаете. Чужая душа — потемки, а у меня в душе лежит большая идея,

Мостовой встал и молча прошелся несколько раз по комнате, потом улыбнулся: — Заметили ли вы, как люди читают серые, словно дождливое утро, и такие же однообразные газетные строчки? Они томатятся. И вот если взять и все время писать в газетах, как можно скучнее, унылее, то у человека от такой болезни, как от соленой воды, появится дикая жажда прочесть живое, человеческое слово. И человек невольно берется за классиков. Он начинает напиваться хорошими мыслями, у него развивается вкус, он облагораживается. Получается, что скучная газета, набивая читателю оскомину, оберегает его от советской литературы, опасной потому, что это — литература, вернее, литературоподобная чистая пропаганда и она куда действеннее, чем газетная серость. Таким образом, я думаю охранить сотни людей от тлетворного действия коммунизма. Я думаю, что таким путем можно сберечь хоть какое-то количество живых и мыслящих людей для будущего.

Иде-фикс, скажете? Далеко не так! Я уже десять лет здесь редактором и все время сушу газету. И за эти десять лет в Орешниках стали вдвое больше читать классиков и почти перестали читать советскую литературу. Я это вижу по статистике районной библиотеки. Результаты, как сказал бы Столбышев, налицо.

Правда, в последнее время я стал писать живее, но тут есть определенный расчет. За воробьиную эру я не буду отвечать: у меня есть письменное распоряжение Столбышева, что и как писать. Но эта дурацкая затея лопнет, как мыльный пузырь. Ведь Москва — не Орешники. Там сидят ловкие заговорщички, а не дураки, и нет там такого сумасшедшего, чтобы приказывал заготавливать воробьев. Тут произошла обыкновенная телеграфная опечатка. Настоящая фамилия, подписавшего телеграмму министра — Воробьев, а приказал он заготавливать кедры. Почтовые же работники перепутали и получилось: заготавливать воробьев, замминистра Кедров. Чего проще. И вот, когда эта дурацкая затея лопнет, будет и без того много смеха, но с моими ура-статьями станет еще веселее смотреть на этот кабак. В общем, я себя компенсирую за долгое насилие над своей душой. Прочтите-ка, Ландышев, свои новые стихи о воробье. . .

Поэт смутился и заерзал на стуле.

— Да вы не стесняйтесь, все мы тут глупостями занимаемся, — подбодрил его Мостовой.

Ландышев откашлялся:

— О, воробей, на службу став народу,
Ты гордым соколом вознесся в высоту. . .

— Ну, вот, вы уже смеетесь! . .

— Я плачу, — ответил сквозь смех Мостовой, и Ландышев увидел, как две крупные слезы выкатились из глаз Мостового и упали на грязный, залитый чернилами, письменный стол.

ГЛАВА XIII

ТАИНСТВЕННЫЙ БЛЕДНОЛИЦЫЙ

Вся эта печальная история с таинственным бледнолицым началась с того, что Раиса влюбилась в заграничный костюм Гоги Дельцова. Как истинная представительница слабого на разные штучки пола, Раиса мысленно поклялась быть верной Дельцову до гроба (его гроба, разумеется) и, оставаясь ему сердцем верна, страсть свою отдала лейтенанту Взятникову. Почему именно Раиса сделала своим избранником Взятникова, догадаться не трудно, если вспомнить, что для женщин любая форма, даже самая малочетная, как, скажем, пожарного, является большой притягательной силой; и если вспомнить, что совершенно никудышний петух, но с яркими перьями, всегда пользуется большим успехом у кур, чем голосистый и сильный петух, но с одноцветной окраской.

Столбышев, как каждый мужчина, был доверчив и, как каждый коммунистический руководитель, замечал только дальние измены, а не те, которые совершаются перед самым его носом. Поэтому, когда Раиса по вечерам подходила к нему и со стоном жаловалась на головные боли, он, повздыхав с ней дуэтом, предлагал ей:

— Иди, того этого, домой, а я позаседаю.

И заседал он до утра.

Взятников же для маскировки своих вечерних отсутствий придумал таинственного бледнолицего человека, который неизвестно откуда появился в районе и занимался подсчетом поголовья воробья, то-есть — вел шпионаж. Взятников, якобы, ловил его каждую ночь, но опытный и матерой шпион ускользал из его рук.

— А что, если он, того этого, стукнет меня по голове? — тревожно спрашивал Столбышев. — Пропадет район без руководства!

— А ты оружие носи! — на свою беду советовал Взятников перепуганному секретарю райкома.

Однажды Столбышев, прозаседав подряд четыре ночи, на пятую закрыл заседание в два часа утра, разбудил членов бюро райкома и предложил идти спать по домам.

Ночь была тихая. Луна то выплывала из-за облаков, освещая спящие Орешники фосфорическим голубоватым светом, то опять закутывалась облаками и наступала темнота, хоть глаз выколи.

— Мда, погодка удобная для шпионажа, — разговаривал сам с собой Столбышев, осторожно, с оглядкой, двигаясь по улице. Пистолет он держал в кармане со снятым предохранителем.

До избы Раисы он дошел без приключений.

— Рая! Это — я, секретарь райкома, — постучал он в окно.

Ответа не последовало. Столбышев постучал громче:

— Проснись, того этого, на данном этапе!

И показалось Столбышеву, что в избе произошло какое-то движение.

— Мда, проснулась, — решил он и уселся на крылечке ожидать, пока откроется дверь и его верная Раиса прижмется к нему разогретым сном телом.

... Темная ночь, только пули свистят по степи... — тихонько запел он, оглядываясь по сторонам.

Луна вышла из-за облаков, задумчиво посмотрела на партийного лирика и снова спряталась.

— Раиса, того этого, не спи, как на лекции по истории партии, — пошутил Столбышев и пошел стучать в заднее окно.

Но как только он вышел за угол дома, сердце его екнуло и стремглав переместилось в пятки: какая-то белая фигура кралась через огород.

— Стой! — шопотом прокричал Столбышев и, бросившись за дом, залег в бурьяне, клацая зубами.

«А вдруг шпион заметил, где я?» — тревожной молнией пронеслась мысль в голове Столбышева. Он стал на четвереньки и, хрюкая от страха и натуги, полез в росшие неподалеку кусты. Там ему казалось безопасней. Но едва он достиг кустов, как чуть не стукнулся лбом с бледным, как сметана, лицом.

— Диверсант!!! — дико закричал Столбышев и, подхлестнутый собственным голосом, бросился бежать, выкрикивая: — Стой! Стой! А то стрелять буду!

И выстрелил. Как и куда он целился — неизвестно. Но выпущенная Столбышевым в диверсанта пуля попала Столбышеву в ногу. Не сильно, слегка поцарапала кожу и распоролла голенище сапога.

— Умираю, но не сдаюсь, — прохрипел секретарь райкома, падал на землю.

Лейтенант Взятников первым прибыл на место происшествия, одетый по-форме, но без шапки. Он оказал раненому медицинскую помощь. Потом прибежала взволнованная Раиса. Она, с горестью несостоявшейся вдовы, прижалась к груди лежавшего на земле Столбышева, левой рукой обняла его за шею, а правой, за своей спиной, передала Взятникову шапку.

— Надо объявить тревогу и начать поиски диверсанта, — отчеканил Взятников, напяливая шапку.

— Он в меня стрелял! Надо, того этого, арестовать Маланина! — стонал Столбышев.

Поиски диверсанта продолжались безрезультатно всю ночь и весь день. Тем временем арестованный Маланин уже признался в своей связи с диверсантом.

— Где у тебя с ним явки? — грозно вопрошал, ведя следствие, Взятников.

— Нет у меня с ним явок! — еле шевелил Маланин распухшими губами.

— Колись! — Взятников огрел его ножкой от стула по левому боку.

— Нет явок!

— Колись! — избитая ножка от стула опять просвистела в воздухе.

— Нет явок! — упрямец Маланин, корчась от боли.

— Колись, шпионюга! Эх!..

— Ой! Не имеете права бить! Конституция...

— Конституция для честных граждан, а ты — враг народа! Колись! Эх!

После пятого сломанного ребра Маланин признался, что явки у него с шпионами есть.

— Наверное, у Егорова? — спросил Взятников.

— Нет, не у Егорова.

— Эх!..

— Да, у Егорова...

Взятников взял из папки уже заготовленный ордер на арест Егорова.

— Чубчиков! Тащи его сюда!

Дело начало разрастаться. Столбышев, несмотря на ранение, сидел в своем кабинете и, кривясь от боли, составлял список. «Семчук», — старательно выводил он, — «несомненно в связи с Егоровым и принадлежит к их шпионской организации. Основание для подозрений: при упоминании имен вождей, контрреволюционно улыбается, аплодирует в полруки и повинен в срыве воробьевпоставок. Тырин...» — вписывал он следующую жертву, — «давнишний приятель Маланина и активный член шпионской организации. Основания для подозрений: служил в оккупационных войсках в Германии и видел живого американца. По замашкам — злостный воробьеввредитель.»

Столбышев окончил писать и, тыкая пером в список, пересчитал фамилии:

— Двенадцать! Гм, того этого, для начала хватит. Каждый из них еще признается, кто его сообщники. Таблица умножения, так сказать...

Потом Столбышев позвонил в райотдел МВД:

— Взятников? Как дела?.. Гм! Того этого. Ты бей Егорова чем-нибудь потверже, у него здоровье слабее... Диверсанта, говоришь, не поймали? Надо мобилизовать на это школьников. Партактив уже весь брошен, так сказать, на поиски. Хорошо! Да! Кто?.. Конечно, арестуй!.. Ну, покедова.

Столбышев повесил трубку и нарисовал в списке крестик около имени жены Маланина.

Многие специалисты по русскому вопросу утверждают, что между царским и советским правительством существует лишь незначительная разница, и с этим нельзя не согласиться. Например, в старом царском указе от 8 февраля 1822 года писалось: «На мужа извинительно жене и не доносить.» Правило это сохранено и при советской власти с незначительным изменением: из него выброшено «не». Именно из-за этого незначительного изменения жена Маланина стояла перед столом Взятникова.

— Ты почему не доложила, что муж твой шпион?!

— Не шпион он!

— Поговори у меня, проститутка! Вот возьму, арестую твоих щенков!

— Не трогайте детей! Пожалуйста, не трогайте!..

— Тогда признавайся, что муж твой шпион!

— Хорошо, признаюсь. Только детей не трогайте! — Маланина залилась слезами.

— Да не реви! — примирительно пробурчал Взятников, записывая показания в протокол. — Не реви! Больше десяти лет за укрывательство тебе не дадут. Поедешь на север, там климат хороший. А за детей не беспокойся. Мы их в детдом отошлем. Там и воспитание отличное, и кормят ничего. Я сам из детдома. Смотришь, через десяток лет и твой сын будет работать в МВД. Еще чего доброго тебя будет допрашивать. Хе-хе! Бывает такое...

Шпиона поймали только вечером. Поймала его Сонька Сучкина. Ее пост был на краю деревни, и уже в сумерках она увидела неизвестного человека в кожаном пальто. Он шел в деревню совершенно открыто и не прячась. Сонька-рябая выломала из забора большой кол, подкралась к нему сзади и изо всех сил тянула его по голове. Шпион упал, как срубленное дерево. Когда его отлили водой, то на вопрос Взятникова, как его фамилия, он ответил:

— Не знаю.

— Ага, старый шпионский приемчик. Дурачком прикидываешься? По чьему заданию работаешь?

— Не знаю!

— Эх! — Взятников с чувством огрел человека в кожаном пальто в ухо.

В это же время к зданию райкома подъехал запыленный «ЗИМ». Из него вышел человек тоже в кожаном пальто и направился в райком. Через несколько минут он выбежал обратно, а за ним бежал Столбышев и воздевал руки к небу. Он был настолько взволнован, что не сел в машину и, забыв о раненой ноге, как скороход, побежал перед машиной, показывая дорогу. Когда машина остановилась около районного МВД, Столбышев, как чорт вокруг грешной души, завертелся около незнакомца.

— Ну, видать, большой начальник! — заметил Мирон Сечкин, находившийся тут же в толпе любопытных. — Сейчас они, наверное, расстреляют шпионов, а потом будет над ними суд...

— Ай-ай-ай, — заохал дед Евсигней, — как же так сразу расстреливать?

— Оно всегда так бывает!.. Взятникову орден обеспечен, — добавил Сечкин и с авторитетным видом пыхнул сигаркой.

Но советская система — плохое поле для любых, даже самых искусственных и опытных предсказателей. Через полчаса из районного МВД под конвоем вывели лейтенанта Взятникова, уже с оборванными погонами, без пояса и шапки. Сзади Взятникова шел с наганом в руке милиционер Чубчиков, притом с настолько бесстрастной и будничной миной, словно он чуть ли не каждый день своей жизни водил своих же арестованных начальников. Чубчиков закричал:

— Разойдись!

И когда толпа образовала проход, он ударом коленки подбодрил Взятникова и, проходя мимо Сечкина, подмигнул ему. Вслед за Чубчиковым из МВД выбежал Столбышев и прокричал:

— Веди просто в тюрьму! У, бериевское отродье!!!

Столбышев кричал очень громко и, видно, совсем не для Чубчикова, потому что, обругав еще раз Взятникова «бандитом», «кровопийцей», он все время посматривал на двери МВД. А когда оттуда под руки вывели «шпиона», Столбышев со всех ног бросился к нему и, присев на четвереньки, предложил:

— Садите товарища полковника ко мне на спину. Он ведь, голубчик наш, еле ногами двигает...

ГЛАВА XIV

ОРЕШНИКИ ПРИОБРЕТАЮТ МИРОВУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ

Много на своем веку перевидали Орешники: тиф, дизентерию, оспу, сибирскую язву, скарлатину, сап, холеру, чуму и, наконец, им предстояло увидеть прогрессивных иностранцев: болезнь значительно опаснее, чем все вышеперечисленные бичи человечества.

Подготавливать прием иностранцев в Орешниках приехали полковник госбезопасности Дубов и его помощник, майор госбезопасности Живодерченко. Злосчастный полковник так и не оправился от удара Соньки-рябой и от последующей обработки Взятникова. Его отправили в областной госпиталь, а на месте остался Живодерченко. Человек он оказался деловой и энергичный. Отправив полковника, Живодерченко ликвидировал происшествие с арестами и притом «по справедливости», как он выразился:

— Взятников обманывал партию и заставлял признаваться людей в несуществующих преступлениях, — объяснял Живодерченко Столбышеву. — А оба Маланиных с Егоровым помогали ему обманывать партию, признаваясь в том, чего они не делали. Поэтому все они одинаково виноваты!

Короче, всех виновных отправили под конвоем в область по старой дорожке, протоптанной в одну сторону. Столбышев и на этот раз, какой уже по счету, вышел из воды сухим. Черный список людей подлежащих аресту по делу Маланина и Егорова, он проглотил не пережевывая в первую минуту встречи с Живодерченко и никаких следов его соучастия в этом деле не осталось. И только по тому, как он подчеркнуто по-дружески обращался с некоторыми руководящими работниками, можно было догадаться, кто у него был в списке.

Вечером того же дня Живодерченко созвал районный актив и в пять минут объяснил цель своего приезда в Орешники.

— Руководители партии и правительства, — говорил он, постукивая карандашем по блокноту с записями, — решили взять курс на мирное сосуществование. Курс этот вызван тем, что за последние годы некоторые наши шаги в международной политике привели к вооружению капиталистического мира. Это для нас невыгодно и опасно. Поэтому сейчас, не меняя сущности нашей политики, мы должны внешними мирными маневрами успокоить капиталистический мир, заставив его розоружиться и этим облегчить победу коммунизма во всем мире, когда перевес сил, и особенно в атомном оружии, окажется на нашей стороне. В свете теперешнего нового курса играет большую роль выска-

зывание иностранцев о нашем миролюбии и о наших успехах в мирном строительстве. Сюда, в Орешники, должны приехать иностранцы и вынести отсюда самые лучшие впечатления. Как это сделать — моя задача.

— Мы достигли больших, того этого, успехов в воробьеловстве! — сияя сообщил Столбышев.

— Чего?! — удивленно вскинул бровями Живодерченко.

— В воробьеловстве, понимаете? Из Москвы такое задание...

— Раз Москва приказала, то меня это не касается.

— А могут ли, того этого, иностранцы знать о воробьеловстве? — показывая свою бдительность, осведомился Столбышев.

Майор Живодерченко просмотрел свои записи и официально сообщил:

— В списке, что можно показывать, такого нет. Значит, показывать ни в коем случае нельзя. Вопрос ясен? Приступим к конкретной стороне подготовки.

Живодерченко работал, как точно заведенный механизм. Глядя на него, Столбышев первое время восхищенно почесывал затылок:

— Сразу видать, того этого, из Москвы...

Но когда Живодерченко одним телефонным звонком вызвал целый полк саперов и они за один день привели в порядок дорогу от Орешников до станции, Столбышев потерял всякое уважение к талантам майора госбезопасности:

— Подумаешь, — говорил он шопотом по секрету одной только Раисе, — подумаешь, организатор... Один звонок и дорога готова. Попробовал бы он, того этого, организовывать в таких условиях, как я, когда для того, чтобы получить литр бензина, надо исписать литр чернил на просьбы. На него, так сказать, вся страна работает, он — барин, а мы — каторжники.

В общем, Столбышев на сей раз был прав. Но как бы там ни было, организация встречи иностранцев прошла блестяще.

В Орешниках выстроили для иностранцев специальную уборную. Она была древней конструкции — выгребная яма, но внутри ее обили красным бархатом. Потом в Орешники приехала колонна автомашин, груженная шампанским, водкой, паюсной икрой, балыками и большим количеством различных промтоваров. Шампанское и прочие деликатесы пошли под замок в кладовую райкома, а промтовары заперли в районный магазин, поставили около него стражу и не впускали туда даже самого заведующего магазином Мамыкина. И, наконец, из огромного здания тюрьмы были выведены все заключенные и под конвоем угнаны в тайгу, где для них был сооружен временный загон из колючей проволоки со сторожевыми вышками по углам. Опустевшую тюрьму убрали, побрызгали одеколоном. Двум, оставленным в ней, мелким вора́м дали новые костюмы и вдели им гвоздички в петлички. На воротах тюрьмы написали: «велькоме».

— Рано или поздно эти дураки сюда попадут, но уже не в качестве гостей, — разглядывая приветственный плакат, заключил Живодерченко и поехал организовывать прием иностранцев на станции.

Орешники должны были посетить четыре иностранца: прогрессивная французская общественная деятельница Жанин Шампунь, прогрессивный японский общественный деятель профессор Кураки, ин-

дийский гость Кришна Диван и американский журналист Чизмэн. Букет этот был составлен не только из людей различных национальностей и вероисповеданий, но и все, входившие в него, были различными по воспитанию и по прежней жизни, по взглядам на жизнь и по политическим взглядам.

Жанин Шампунь была в прошлом недорогой парижской проституткой. Во время немецкой оккупации ее выгнали за неприличное поведение из публичного дома («орднунг мусс зейн») и она, очутившись на улице, что-то неудачно украла и была посажена в кацет.

В 45 году, когда союзники победили, оказалось, что в Германии в кацетах не было ни одного уголовного преступника. Уголовники, со свойственной их профессии ловкостью, моментально подделались под действительных мучеников — политических и расовых жертв нацизма. Для уголовников настала золотая пора. Взломщики, убийцы, грабители, проститутки, жулики записывались в «общество жертв фашизма» и, не довольствуясь щедрой помощью союзников, каждый из них занимался прежним ремеслом. Такая политическая деятельность долготерпеливым союзникам, наконец, не понравилась, и кое-какие мнимые жертвы фашизма стали водворяться обратно в родные тюрьмы в качестве жертв антифашизма.

Это заставило мадемуазель Шампунь несколько призадуматься над будущим. Она украла все, что было награблено коллегами по обществу «жертв фашизма» и укатила в Париж, где вступила в коммунистическую партию и, как участница резистанса (соответствующая справка стоила ей три пачки американских сигарет) стала писать мемуары. Книга, благодаря смеси вымысла о борьбе с наци и приукрашенной правды о сексуальной жизни авторши, имела бурный успех и была признана одной из лучших политических книг.

Имя Жанин Шампунь стало известным и, хотя в СССР никогда в жизни не напечатают ее книги, так же, как не допустят художества в стиле Пикассо, и ее и Пикассо, и других, им подобных, советское правительство готово использовать. Поэтому мадемуазель Шампунь пригласили в Международный Комитет Защиты Мира и она поехала в Корею, — дело было в 50 году, — уговаривать коммунистических солдат каждому убить хотя бы по десять американцев. За усилия в деле защиты мира советское правительство наградило ее Сталинской премией, а писатель Эренбург в одной из речей назвал ее «совестью человечества.» Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о прогрессивной деятельнице Жанин Шампунь.

Японский профессор Кураки был человеком совершенно иного сорта. Он никого в своей жизни не обокрал и не занимался ничем, с точки зрения уголовного кодекса, предосудительным. Он был просто человеком редкого склада. Обыкновенно ребенок, появившись на свет, вначале громко кричит и возмущается, потом он начинает подрастать, улыбаться, пускать пузыри, радоваться лицу матери, склонившемуся над коляской, и так далее. Всего этого не произошло с Кураки. Он как скривился, взглянув первый раз на свет Божий, так и не переставал кривиться до седых волос. Ничто ему в мире не нравилось. Он всем возмущался, все ругал и с годами достиг в этом искусстве большого мастерства.

В 46 году он стоял на одной из людных улиц Токио и возмущался

тем, как люди переходят дорогу. Он так громко кричал, что не услышал автомобильного гудка и сам подлез под американский военный джип. Удар получился несильный. Кураки даже устоял на ногах. Но с тех пор при слове «американец» на него нападало неудержимое бешенство. Поэтому его пригласили в Международный Комитет Защиты Мира, где он ругал на чем свет стоит всех американцев.

О Кришна Диване можно сказать следующее: он родился в семье очень богатого индийского землевладельца, получил воспитание в Оксфордском университете, нахватался много громких фраз, по складу ума был глуп, как обстриженный баран, и очень любил политику. А политика в его представлении слагалась из компромиссов, но не для всех. Например, он всегда говорил, что Формоза — китайская территория и ее надо отдать китайцам. Когда его спрашивали: «А Чанг Кай-ши — не китаец?» Он пожимал плечами: «Нельзя дразнить Мао Цзедуна.» А Чанг Кай-ши можно дразнить?» — спрашивали его, и он опять пожимал плечами: «Надо делать компромиссы!».

Кришна Диван страшно не любил белых, к которым он причислял всех южных корейцев и китайских националистов, и он очень болел за дело народов Азии, к которым он причислял народы СССР и страны советских сателлитов (в Восточной Германии жили азиаты, в Западной — европейцы). Благодаря особому складу ума Кришна Дивана, советское правительство устраивало ему при каждом посещении СССР торжественные встречи с музыкой и прочими почестями, о которых не мог и мечтать ни один из иностранных коммунистов, посещающих СССР.

— Он для нас выгоднее всех коммунистов, — говорили советские вожди, а растроганный радушием Диван, уезжая из СССР, каждый раз говорил:

— Я оставляю здесь свое сердце!

— А где он оставляет свою голову? — улыбаясь, сказал однажды один из вождей, но этого, конечно, Дивану не перевели.

Мистер Чизмэн был не похож на трех остальных иностранцев. До 41 года он представлял себе коммунистов и, стало быть, всех русских, некими антиподами с красной звездой на лбу и ножом в зубах. В 41 году его представление переменялось, и у антиподов выросли ангельские крылья. В 45 году у ангелов начали появляться рога.

В 50 году Чизмэн приехал корреспондентом одной американской газеты в Москву и к удивлению своему увидел, что живут там люди, как люди. Одень москвича в американский костюм, посади в «Форд» или «Шевролет» и не отличишь его от жителя Нью-Йорка. «А где же полицейский террор?» — задал себе вопрос пытливый мистер Чизмэн и, внимательно все разглядывая, прошел от гостиницы «Метрополь» до Большого театра. Путь был недалек, всего наискосок через дорогу, но и на этом коротком пути Чизмэн увидел, что в СССР люди не боятся полиции и что нет в СССР полицейского террора: на глазах у всех милиционер штрафовал шофера, а тот без всякой боязни выражал свое возмущение, и милиционер его даже не арестовал. «Свобода! Точно так же, как и в Америке!» — решил Чизмэн и в тот же день отправил первую телеграмму в свою газету: «Наличие свободы в СССР — неоспоримый факт. Люди не боятся полиции. Видел смеющихся граждан. Видел у многих деньги, и люди их свободно тратят. Народ обожает

власть и мимо Кремля ходит на цыпочках. Волга проходит через Россию так, как это обозначено на карте, и это доказывает, что правительство ничего не скрывает.»

Вначале органы МВД относились к Чизмэну с опаской. За ним следили и к нему подкинули проститутку в звании лейтенанта госбезопасности. Но потом на него махнули рукой: это хороший корреспондент! Хорошим он оказался потому, что писал такие корреспонденции: «Видел тысячелетней древности Кремль, что доказывает высокую культуру коммунистов.» Или: «В кругах русских дипломатов возмущены поднятым в ООН вопросом о подневольном труде в России.» Короче говоря, Чизмэн, сам не понимая того, использовал испытанный способ коммунистической пропаганды (Чизмэн писал «русской пропаганды»). Когда он писал о балете, театре, живописи и обо всем хорошем, он писал «советский балет», «советский театр» и т. д. Когда он писал о чем-нибудь плохом, то обязательно с приставкой «русское». Очень хороший способ подымать престиж коммунистов и восстанавливать против себя русских. Был хорошим корреспондентом Чизмэн еще и потому, что для своих корреспонденций о советской жизни пользовался так называемым треугольником: по государственному универсаму № 1 судил о наличии товаров в торговой сети СССР; по ресторану «Метрополь» судил о том, что в СССР люди едят; а по публике в Большом театре судил, как люди одеваются.

Поездка Чизмэна в Орешники была его первой поездкой за пределы треугольника. Но он так хорошо знал СССР, что еще в Москве с вокзала отправил телеграмму в Нью-Йорк: «Орешники — маленькая сибирская деревня. Народ живет хорошо и всем доволен. Большие успехи в строительстве и сельском хозяйстве. Полная свобода жизни. Люди смеются.» Люди, действительно, смеялись.

Старый переводчик группы (он же капитан госбезопасности) Окрошкин, узнав о телеграмме, смеялся так, что у него поотлетали пуговицы на гражданском пиджаке, и сквозь смех он говорил:

— Зря мы везем с собой Шампунь для опровержения. Чизмэн так все опишет, что Шампунь не придется описанное Чизмэном называть злым вымыслом.

Окрошкин оказался прав. Едва иностранцы успели высадиться на станции в восьми километрах от Орешников, как Чизмэн отправил вторую телеграмму: «Орешники — районный центр в Сибири. Народ живет хорошо, как никогда до этого. Граждане полностью поддерживают власть. Все говорят о мире и не хотят войны. Нас встречают с цветами.» Последняя фраза соответствовала бы действительности, если бы была написана на десять минут позже. Потому что, пока Чизмэн писал телеграмму, из багажного вагона еще только выгружали привезенные из Москвы розы, которых за сотни километров вокруг Орешников не было и в помине.

Встреча иностранцев носила исключительно радушный характер. Столбышев, вопреки коммунистической практике все отбирать, поднес гостям на полотенце хлеб и соль, по старому русскому обряду гостеприимства. Маленькие школьницы поднесли гостям по букету роз и каждая из них произнесла старательно зазубренную фразу: «Да здравствует мир во всем мире!» Затем гостей усадили в машины, пригнанные из области, и вся кавалькада двинулась в Орешники.

Вдоль всей дороги до самых Орешников стояли люди и громко приветствовали иностранцев. Если читатель подумает, что людей выгнали насильно встречать, то это будет ошибкой. Зачем, спрашивается, выгонять? Просто воскресение в районе было перенесено на четверг (день приезда иностранцев), и все люди были свободны. А кому не интересно посмотреть на иностранцев, приезжающих впервые в эти места?

Когда гости вышли в Орешниках из машин и пошли к райкому пешком, возгласы и приветствия усилились:

— Ура!.. Ура!..

— Ты смотри, как та накрашена!

— А запах какой! Это тебе не одеколон «Русалка», от которого пахнет селедкой!

— А ты еще помнишь, как селедка пахнет?..

— Смотри, вот тот в кальсонах!..

— То не кальсоны, то индийские штаны, заграничный материал!..

— Да здравствует Америка!

— Тише, кругом шпионы наезжие!..

— Сегодня можно. Да здравствует Америка!

— Гражданин, прошу не выражаться! Что надо, будет выражено в организованном порядке!..

— Так что и поприветствовать нельзя?

— Кричите: мы за мир!

В стороне от выстроившихся шпалерами приветствовавших собралась большая толпа орешан, а в центре ее находились дед Евсигней, Мирон Сечкин и Бугаев.

— Так что же, атаманы-молодцы, пропустим мы случай, ай нет? — спрашивал всех дед, оглядываясь вокруг.

— Нельзя такой случай пропустить! — за всех ответил Сечкин.

— Ну, тогда айда, пошли! Ты, Бугаев, хотя бы надел праздничное, стыдно иностранцам латки показывать, — говорил уже по дороге дед.

— А чего ж? Пусть смотрят, как мы живем!

— Оно, конечно, верно, но все ж не хорошо латки показывать, — стоял на своем дед.

Толпа подошла к райкому, но Живодерченко все заранее предусмотрел: незнакомые лица в гражданской одежде, с безразличным видом прогуливавшиеся около райкома, остановили толпу:

— Граждане, сюда нельзя, давай обратно. Нечего гостям глаза мозолить. И без вас им есть с кем поговорить!..

Сечкин сразу же оценил обстановку и стал сдавленным голосом давать распоряжения:

— Ты, Бугаев, держи в поле зрения того шпиена. Вы, братцы, здесь побольше толкайтесь и отвлекайте внимание. А мы с дедом пойдем и устроим засаду в хорошем месте.

Осмотр гостями Орешников начался с осмотра столов, поставленных на свежем воздухе, на лужайке около райкома. Покрытые белыми скатерками, столы буквально ломились от всевозможных напитков и закусок. Столбышев поднял первый бокал за дорогих гостей, жадно выпил его и с удивлением посмотрел на пустое дно, а потом на Живодерченко: вместо шампанского ему налили лимонад. Зато Чизмэн, вы-

пив, сладко облизнулся и положил себе полную тарелку черной икры. Второй тост за индийского гостя был поднят томатным соком, так как религия Кришна Дивана запрещала ему пить спиртное. Третий тост за дорогого гостя Чизмэна был поднят полными стаканами водки. Столбышев выпил и с нескрываемым раздражением посмотрел на дно стакана: на сей раз ему налили чистую воду.

Только после пятого тоста, который провозглашал председатель колхоза Утюгов — за индийскую культуру и любимого в СССР писателя Рембранда Тагорова, — «Рабиндраната Тагора» поправил его Живодерченко, справившись по бумажке, — Столбышев смирился с судьбой и без отвращения выпил томатный сок.

После десятого тоста Чизмэн обнял за плечи сидевшую рядом с ним Соньку-рябую и с нескрываемым восхищением сказал:

— Соч э найс персон!

На что Сонька ответила:

— Мы за мир, против поджигателей войны!

Вначале Столбышев сидел около Кураки и все время ему говорил:

— Ну, почему нельзя сосуществовать? Вот сидим же мы с вами за одним столом, пьем, так сказать, и если бы не американцы, то всегда, того этого, так бы и продолжалось...

Потом он пересел поближе к Дивану:

— Индия — миролюбивая страна, и мы ее искренне любим. Мы — за мир, и вы — за мир. Мы, того этого, не хотим войны, и — вы. Мы — за компромиссы, и вы тоже. Так в чем же дело? Американцы все-му мешают. Они, так сказать, хотят поджечь войну...

Затем Столбышев подсел к мистеру Чизмэну:

— Американцы — чудный народ, но капиталистическая система, того этого, себя изжила. Мы цветем, а вы загниваете. У нас прогресс, а у вас регресс. Разве вы можете когда-нибудь нас догнать? Вот спросите людей... Товарищ Матюков! Смогут ли они нас когда-нибудь догнать?

Уполномоченный по соломе безнадежно махнул рукой:

— Куда им!..

— Вот видите! — продолжал Столбышев. — Все пути ведут к коммунизму...

Под конец он подсел к мадемуазель Шампунь. Ее агитировать не надо было, она в СССР получала жалование раз в двадцать больше, чем Столбышев. Поэтому Живодерченко показал ему глазами на Кришна Дивана.

— Дорогой индийский гость! У нас, того этого, пока не всего достаточно. Трудности, так сказать, роста. Но уже и сейчас магазины ломаются от товаров...

Как бы в подтверждение слов Столбышева издали донесся треск: то орешане ломались в двери районного магазина.

— Растущие, так сказать, потребности... — объяснил Столбышев.

Дед Евсигней и Мирон Сечкин долго сидели в засаде. Но каждый раз, как кто-нибудь из иностранцев шел в уборную, впереди его шел человек в штатском и показывал ему дорогу туда и обратно. Наконец, им повезло: сопровождающий товарищ показал Чизмэну дорогу туда, а обратно Чизмэн возвращался сам (работники МВД тоже ведь люди!).

— Ну, с Богом! — перекрестился дед Евсигней, и они из кустов вышли на тропинку.

— Мистер!.. Пан!.. Америка!.. Уолл стрит!..

На этом запас иностранных слов Сечкина исчерпался и он продолжал по-русски:

— Воевать надо. Атомную бомбу бросать надо...

— Но такую, чтобы только правительство, а не честных людей!..
— вставил дед.

— Жизни нет. Понимаешь, нет жизни при этих паразитах!.. Спешите, а то вам то же самое будет! В колхоз вас загонят. Капут будет!..

Чизмэн посмотрел на них осоловелыми глазами и вдруг запел на ломаном русском языке:

... Москва моя, страна моя, ты самая любимая...

— Тьфу ты, чорт! — выругался дед и потащил Сечкина за рукав:
— Пойдем, Мирон! Пойдем! Ты что, не видишь, что это свинья, а не американец?.. У, паразит грешный! Такому и атомную бомбу не жалко на голову бросить...

Вечером иностранцы прямо от стола пошли к машинам и уехали на станцию. Провожало их меньше народа, чем встречало, потому что в это время начался решительный штурм запертых дверей магазина. Но, когда двери, наконец, раскрылись, орешане к своему удивлению увидели, что магазин пуст.

— И когда же они успели все унести?.. Не иначе, как тут по приказу Столбышева сооружен подземный ход...

— Райка-полюбовница, небось, уж новые платья шьет!..

— Граждане! — оповестил Мамыкин. — Становитесь в очередь. Приказано отпустить по две пачки синьки для каждой кормящей матери!..

— Вот тебе и растущие потребности! — заметил кто-то из толпы.

И в это время послышались окрики конвоиров. То из тайги гнали заключенных обратно в тюрьму.

А в далеком Нью Йорке огромные ротационные машины бездушно выбрасывали газетные листы с корреспонденцией Чизмэна.

ГЛАВА XV

ТРИ ДНЯ БЕЗ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Еще весной молодежь стала собираться на крутом склоне у реки, там, где росли три нарядных березки. По вечерам оттуда доносились смех, треньканье гитар, лихие переборы гармошки и громкие песни. Обычно уже к полуночи парни, по привычке отцов, хватали девушек за что попало, девушки визжали, убегали, но, по привычке матерей, возвращались обратно и льнули к парням. Потом опять визжали.

К концу мая у трех березок опустело. Парни и девушки ходили уже отдельными парами и каждая из них выбирала место поукромнее. В темном благоухании ночи слышались вздохи и нежный шепот. Изредка из темноты выплывала лирическая и грустная песня. Гитары приобрели задумчивый тембр. Гармошки стали играть тягуче и с замиранием.

Через месяц, подойдя ночью к склону реки, можно было подумать, что здесь собрались тысячи извозчиков и без слова «но!» погоняли лошадей нежным причмокиванием: «М-чмок! Милая... чмок!...»

Столбышев тоже наведывался сюда и каждый раз возвращался в райком со смешанным чувством: с возмущенной миной на лице он одобрительно качал головой. С одной стороны он не мог не радоваться поведению молодежи, потому что партия и правительство все время говорили об увеличении населения СССР. С другой стороны он не мог не возмущаться, так как приближался церковный праздник Спаса.

Давно, может быть лет двести тому назад, в Орешниках завелся такой обычай, что все свадьбы справлялись на Спаса. Несколько позже, может быть лет пятьдесят-шестьдесят тому назад, орешане стали пренебрегать старым обычаем и свадьбы справлялись в любое, кроме, разумеется, Великого поста, время. Почему оно так получилось, неизвестно, но при советской власти, когда все церкви были уничтожены, а церковные праздники запрещены и не значились даже в календарях, орешане стали их особенно старательно праздновать. Они вспомнили даже такие праздники, которые и деды их не праздновали. И на каждый праздник, хоть ты им кол на голове чеши, не работают, молятся, пьют и гуляют. И с тех пор опять все свадьбы стали справляться только на Спаса.

Партийное начальство боролось с религиозными праздниками, как только могло. Читало антирелигиозные лекции, грозило милицией, организовало для борьбы с праздниками рядовых партийцев и комсо-

мольцев. Но все это кончилось тем, что милиция, рядовые партийцы и комсомольцы сами пристрастились к праздникам и, если орещане забывали какой-нибудь из них, они напоминали: «Товарищи! Да, как же это? Егория Великомученика приближается, а вы еще и самогон не варили?!»

Постепенно с этим свыклись и партийные руководители и стали не столь яростно бороться с религиозными праздниками. Столбышев, например, чинно справлял Рождество, Пасху и только иногда говорил:

— Ты, Рая, того этого, зачем крест на пасхе нарисовала? Сделай-ка лучше серп и молот!..

Но со Спасом Столбышев никогда примириться не мог. В древние времена старики начали устраивать на Спаса все свадьбы, потому что у них все было рассчитано: к этому времени все летние сельскохозяйственные работы кончались, хлеб был убран, обмолочен: гуляй и веселись! При советской же власти агрономические расчеты, сделанные в Москве, директивно предписывали производить уборку в Орешниках как раз во время Спаса. Вот и получилось, что осыпавшиеся хлеба из-за праздника не убрали еще несколько дней.

— Ну, что поделаешь? — почесывая затылок, спрашивал Столбышев Семчука. — Что, того этого, делать с этим Спасом?!

— Ничего не сделаешь. Надо только милицию нарядить наблюдать за порядком, чтобы драк поменьше было...

— Подумать только, такая отсталость?!.. Спас, а? Тут еще, так сказать, организационные неполадки с воробьепостваками, уборочная задерживается, хоть бери и сам празднуй!

— А почему нет?

— Что ты, Семчук?! Побойся Бога! — неожиданно стал вплетать религиозные слова в свою речь Столбышев. — Как можно нам, того этого, ответственным работникам, партийцам, приобщаться к церковному празднику, да еще храмовому? Боже упаси и сохрани... Я не буду праздновать! — убежденно закончил Столбышев и почесал свой красный нос.

С утра Орешники преобразились. Празднично одетые люди сновали между домов. Тетка Лукерья, мать комсомолки Нюры, стояла около плетня и, подперев рукой подбородок, рассказывала соседке:

— А фата у моей Нюры — одно заглядение... У спекулянта материю покупали... О, Господи! — всплеснула она руками, — веночек то, веночек забыли! — И она суетливо, как наседка, затрусила широкими юбками в избу.

Мимо памятника Ленина четыре старушки, крестясь на ходу, пронесли икону. На гипсового Ленина никто не обратил внимания, к нему привыкли, как к врытому без всякого толка столбу посреди площади. Но Столбышеву, питавшему по долгу службы к Ленину уважение, показалось издали, что белые глаза основателя партии полезли из орбит, указательный палец вытянутой вперед правой руки согнулся: мол, иди-ка сюда, товарищ; так ли я учил тебя бороться с религией?!..

Столбышев зажмурил глаза, отошел от окна, достал из шкафа бутылку водки, оставшуюся после посещения иностранцев, и выпил целый стакан, чтобы заглушить угрызения совести. Совесть у коммуниста, как аппендицит у человека: и ни к чему не нужная, и не всегда бывает вырезана. Выпив, он крякнул, и гулко разнесся звук его го-

лоса по зданию райкома. Столбышев прислушался: ни души, ни единого звука, словно, даже мыши отсюда убежали.

— Вот и нет советской власти, — сказал он сам себе и улыбнулся, потом нахмурился, затем опять улыбнулся и опять нахмурился: — Ничего не поделаешь, идти надо, — вздохнул он и взялся за шапку.

Около Дома Культуры «С бубенцами» толпился народ. Через открытые для проветривания помещения окна был слышен голос заведующего Домом:

— Николая Угодника сюда вешайте... Марию Мироносицу — вот сюда, на место Маркса... Амвон, значит, здеськи устроим... Ровней, ровней икону вешай, это тебе не плакат!..

Столбышев потерянным сиротой походил вокруг толпы и никем не замеченный хотел было уже уйти, но к нему подошла его законная жена:

— Здравствуй, Федя! — запела она и ласково и с ехидством.

— Мда!.. Здравствуй, Марфа! — Столбышев молча и несколько смущенно потоптался на месте, а потом добавил: — Ты на меня, того этого, не сердись... Тырин тебе передал материю на платье?..

— Ой, спасибочка же тебе, муж законный, что хоть не все Райке-полубовнице отдал!..

— Мда! Ничего, бывает, на данном этапе, так сказать... — Столбышев скривился и полушепотом попросил жену: — Дети Маланиных, знаешь, одни остались. Мне неудобно, так я тебе, того этого, кое-что передам для них... Дети за отцов и по закону не отвечают, — уже шепотом сообщил он и боязливо оглянулся вокруг.

Но никто на него не обращал внимания. Взгляды всех были прикованы к телеге, только что подъехавшей к Дому Культуры. На ней сидели батюшка и диакон. Батюшка был старенький-престаренький, седой, как лунь, и смотрел на всех и ласково и перепуганно.

— Я отец Амвросий, — так, вообще, неизвестно кому представился он и не решился слезать с телеги.

Диакон был огромного роста, пудов на двенадцать весом, и весь заросший рыжими волосами.

— Здорово, православные миряне! — мощным басом, как в колокол, прогудел он и легко спрыгнул с телеги.

— От это диакон, громко и радостно выругался дед Евсигней, чего с ним никогда раньше не случалось, ибо пуще всего на свете он не любил матерщину.

Первыми под благословение батюшки подошли старые люди. Они целовали батюшке руку и троекратно с ним лобызались в обнимку накрест. Молодежь стояла в стороне в нерешительности. Потом комсорг колхоза «Изобилие» Катя бойко тряхнула льняными кудрями и подошла:

— Благословите, отче...

Какой-то молодой парнишка в толпе молодежи хихикнул, но сразу же оборвал смех и с серьезным лицом подошел к священнику:

— Благословите, батюшка...

Так и пошли все один за другим под благословение. А из раскрытых окон Дома Культуры уже гудел распорядительный бас диакона:

— Не так иконы повешены!.. Осени себя крестом перед тем, как

взять святой лик в руки! . . . Какой ты заведующий Домом Культуры, если ты не знаешь, как православный храм устроить?! . . .

После освящения Дома Культуры батюшка Амвросий кропил святой водой во все стороны и восклицал: «Изыдь, нечистая сила!» Покропил он, между прочим, и портреты вождей. К крыльцу стали подвозить молодых. По старому орешниковскому обычаю венчали все пары сразу. Пары чинно стояли перед аналоем. Невесты все в фатах, а женихи с белыми ромашками в петлицах пиджаков. Тырин, стоявший рядом со своей невестой, секретаршей райисполкома, в отличие от всех был в военной форме без погон и при всех орденах. Он долго сопротивлялся венчанию в церкви. Говорил, что члену райкома неудобно, что за это могут и партийное взыскание дать, но невеста уперлась: «Ну, и пусть дают! Великое дело — взыскание?! Венчаться хочу по-человечески. . .»

Сзади Тырина стоял член партии Пупин и дрожащей рукой держал над его головой венец.

— Жена да убоится мужа своего! — ревел рыжий диакон так убедительно, что даже старые сварливые жены с уважением стали поглядывать на своих мужей. Тетка Лукерья со слезами умиления на глазах смотрела на свою дочь под венцом и истово била поклоны: «И как же легко на душе. . .» Лица у всех были торжественные и до неузнаваемости воодушевленные. А отец Амвросий старался изо всех сил: читал из Евангелия, кадил, водил молодых вокруг аналоя. Хор стройно пел, да так все затянулось, что только часа через три начались поздравления с бракосочетанием. Все очень устали, но все остались довольны, словно смыли люди с себя грязь и нечисть и теперь выглядели умытыми, сияющими и слегка разомлевшими от блаженства.

— Душа же ты моя! — говорила тетка Лукерья комсоргше Кате. — И до чего же все хорошо, аж сердце замирает! И-и-и!.. Голубушка!..

— Красиво, — соглашалась Катя и задумчивым, ничего не видящим взором смотрела на красный плакат на стене: «Социалистического воробья на мякину!»

Столбьшев, одинокий и грустный, долго ходил по полям. Суслики поднимались на задние лапки и приветливо свистели ему из объединенной, niskорослой пшеницы. Жирные полевые мыши не спеша убегали с его пути и, не обращая внимания на осыпавшееся зерно, развлечения ради, подтачивали стебли. Широко распластав крылья, высоко в небе парил орел, но и он делал это только по привычке, ибо был сыт по горло. Кругом была картина благодушия, сытости и спокойствия.

Столбьшев ее не замечал. Мыслями он был далеко в прошлом. Вот отец его приходит с завода. Худой, высокий, с висячими усами, какие обыкновенно носили все мастера. Он умывается над тазом и долго причесывает гребенкой усы. Делает он все это молча и степенно. Мать, небольшая, пухленькая, похожая на спелое румяное яблочко, деловито постукивает рогачами и кочергами у печи. Скоро на столе появляется миска, а в ней душистые щи с мясом. Отец крестится и молча садится за стол. Мать стоит, скрестив руки на животе под передником.

— Коровка наша ест плохо, — прерывает она молчание и, не до-

ждавшись ответа, сразу же перескакивает на другое: — У Феди сапоги износились...

— Износились, значит, купить надо, — не спеша отвечает отец.

Мать сокрушенно вздыхает:

— Три рубля, чай, стоят! Все дорого, не подступись...

Столбышев задумчиво посмотрел на свои сапоги и без всяких чувств произнес:

— Семьсот рублей, мда! Дороговато... Но зато отец тогда получал сорок, а теперь бы получал тысячу рублей...

И сразу же вспомнился ему завод. Большой цех, грохочущие машины, а он молодой и безусый стоит у станка: ученик токаря. Потом промелькнули в его памяти комсомольская ячейка, выборы, райком комсомола, собрания, речи, райком, поездки в качестве инструктора, речи, доклады, записки с доносами, клятвы в верности Сталину, неприятное чувство ожидания ареста, и опять доносы для показания своей верности, планы, цифры, проценты, друзья приходят, исчезают, надо изворачиваться, съешь или тебя съедят, черное есть белое, белое есть черное, пожалеешь ты, тебя не пожалеют, без профессии, без знаний, наконец, кабинет в Орешниках. Тихая пристань?..

— Хорошим был мастером покойный отец, — без всякой связи с предыдущим мысленно сказал Столбышев и повернул обратно к деревне.

Столбышев был приглашен на свадьбу к Тырину и пришел к его избе как раз к приезду молодых. Возгласы, приветствия, поздравления. Тырина с женой посыпали пшеницей. Какая-то бабушка, успев уже подвыпить на радостях, пританцовывала около молодоженов, помахивая платочком:

— И-и-и... Их!.. Их!..

Столбышев встретился взглядом с сияющими глазами Тырина, в груди его что-то забулькало, из горла вырвались хриплые и непонятные, как из испорченного граммофона, звуки и неожиданно для всех он заговорил проникновенным голосом и, главное, коротко и убедительно:

— Дай Бог вам, молодым и хорошим счастья и веселья. Живите дружно. Любите друг друга. А еще пожелаю я вам много деток и здоровья для вас всех... Дайте же вас поцеловать! — и он со слезами на глазах полез целоваться.

Приглашенных к Тырину было много. Много было и неприглашенных. Но раз пришли — садись все за стол! В избе было мало места и стол был поставлен на свежем воздухе. Бутылки с известной «сечкиной» стояли густо между тарелок с едой, как деревья между пнями в лесу, где идет порубка. Еда была простая: кислая капуста, огурцы, грибы маринованные, красный от свеклы винегрет. Было и мясо, но немного. Была и рыба местного улова. Холодец из свиных ножек с хреном. В общем, было все, что давал приусадебный участок, личное хозяйство и личный промысел. Купленной была только самогонка, да и то у частного предпринимателя. И если уж быть объективным, то надо сказать, что соль была куплена в государственном магазине в областном городе. Но как бы там ни было, все были веселы, сыты и быстро хмелели.

— За молодоженов!

- Ура!.. — выпили.
- За родителей!
- Ура! — выпили.
- За гостей!
- За отсутствующих!
- За всех присутствующих!
- Кушайте, куманек, холодец...
- Благодарствую...
- Горько!.. Горько!.. Горько!..

Молодожены нехотя встали и, смущаясь, словно это было впервые, поцеловались.

— Сладко!..

Справа от Столбышева сидел диакон, слева — дед Евсигней. На груди деда красовались два Георгиевских креста и одет он был в старый солдатский мундир.

— Вот это власть была, — говорил дед, накладывая в тарелку холодца, — пятьдесят лет мундиру, и хоть бы тебе что. Вы только пощупайте пальцами, — приставал он к Столбышеву, — как мясо сукно...

— Мда!.. Хороший материал...

— Еще бы, царский! — Дед многозначительно поднял палец. — Штаны лет пять назад протер. А вот мундир ношу и правнукам моим еще останется. Жили когда-то... Теперь что... Не жизнь, а тьфу!..

— А за что, того этого, Георгиев получили? — спросил Столбышев, чтобы переменить скользкую тему разговора.

Дед Евсигней подбодрился, лихо расправил усы, погладил бороду и начал:

— Георгиевский крест, это — боевое отличие. Вот теперь, например, за то, что корова хорошо доится, орден Ленина могут дать. Какой же это, извините за выражение, орден? Тьфу! Да и только. Солдатам его стыдно носить. Да я бы...

— Так за что же вам, дедушка, Георгиев, того этого, вручили?

— Было дело... Георгий — это, понимаете, крест, награда за храбрость перед лицом врага. На японской войне я получил. Этот вот — за спасение из плена их благородия штабс-капитана Дыркина. А вот этот — за то, что один приступом взял японскую пушку. Страшно вспомнить... Значит, Бог хранил, а то бы давно косточки в земле погнили. Помню, призывает меня к себе командир полка полковник их сиятельство князь Кираселидзе, из грузин, конечно...

— У них как есть три барана, так уже и князь! — пробасил диакон.

— Да, их сиятельство, значит, князь... И говорит он мне: «Ты, Петухов», — Это моя фамилия Петухов, — «Ты», — говорит, — «Петухов — старый солдат и самого чорта обмануть можешь. Так выручь же, братец, из японского плена штабс-капитана Дыркина. Выручишь — Георгия получишь, погибнешь — так не даром, а за веру, царя и отечество.» «Рад стараться!» — отвечаю я их сиятельству. «Молодец», — говорит, — «Петухов! На тебе пять рублей на водку...» Хороший был командир, царство ему небесное. И говорит дальше их сиятельство: «Мне на Дыркина наплевать. Не такие офицеры и солдаты-орлы головы складывают. А это пьянчуга и, вообще, никудышка. Но знает он много военных тайн, и хотя человек он преданный престолу и отечеству, но в пьяном виде и присяга не помогает: все расска-

жет неприятелю. Иди, орел-Петухов, и выручай.» — «Рад стараться,» — говорю и пошел. Страшно живому в плен идти, но что поделаешь, когда приказ военный. . .

— И придумал военную хитрость. Взял, значит, ружьишко землякам на сохранение отдал. Запасную пару портянок тоже отдал — поберегите, братцы, чтобы на трофей японцам не досталось, а ежели сложу свою голову, пользуйтесь на здоровье. Перекрестился и бросился я бежать к неприятельским окопам. Наши знай, вверх для вида постреливают. Бегу и кричу: «Банзай!» Это на их языке так «ура» называется. Прибежал. Обступили меня, маленькие такие, косоглазые. Соплей перешибить можно. А все же страшно, как не говори — неприятель! Они лопочут что-то по-своему, а я давай военную хитрость им подпускать. Я, говорю, люблю вашу микаду. Почему люблю, сам того не ведаю, но очень мне его личность симпатичная. Банзай, говорю, микада! Берите меня, я ваш. . . Смотрю, морды злые. . . Надо, думаю, подпустить больше. И давай им еще насчет микады. У меня, говорю, у самого, может быть японская кровь. У нас по деревням много китайцев путается, так может, того. . . Вы понимаете, куда я закручивал? . .

Дед Евсигней многозначительно посмотрел на слушателей и продолжал:

— Помогла эта военная хитрость и заперли они меня в сарае. Смотрю, лежит на соломе их благородие штабс-капитан Дыркин и спит, как падаль. Ну, думаю, слава Богу. Потаскал я его за сапог малость, проснулись их благородие и давай кричать. Ух, и мастер же был кричать. «Ты,» — кричит, — «сукин сын Петухов, как смеешь меня будить?!» Я ему шепотом: «В плену мы, ваше благородие. . .» А он: «Молчать, свиное ухо! Стань во фронт и не смей при мне такие слова говорить! Какой такой плен, если я вижу нашу ротную кухню?!» И показывает пальцем в пустой угол сарая. Ну, думаю я, раз ты уже наяву ротную кухню видишь, так ничего не вспомнишь. Перекрестился я, да как трахну его благородие кулаком по голове. Он только квакнул, как жаба, и затих. Кулак у меня был, как вот то ведро, — дед показал на стоявшее около стола ведро с винегретом.

Потом посмотрел на свою иссохшую, всю в темносиних жилах руку и закрутил головой:

— Ой! И кулачище же было. . . Ушли годочки, помирать скоро надо. . .

— Выпьем, дедушка? — предложил Столбышев.

Они выпили, закусили. Дед стряхнул с усов остатки кислой капусты и тихим голосом продолжал рассказ:

— Темно в сарае стало. Часовой японец около двери прохаживается. С наружной стороны, конечно. Слышно далеко собаки лают. Песни неприятель протяжные такие поет. И так мне страшно стало. Подлез я под бок их благородию и дрожу, как щенок осенью. Потом подумал: дрожи не дрожи, а выбираться надо. Подкрался к двери, прислушался: ходит япошка. То подойдет к двери, то отойдет. Ну, думаю, мать честная, помирать, так с треском. Да как ахну плечом в дверь. Дверь вылетела и придушил я ею японца, не пикнул. Освободил я из под двери его ружье, прихватил на плечо их благородие и бегом. Бегу, как попало. Думаю, попадусь, не попадусь. Тут долго рассуждать не приходится: война и все! Через версту, смотрю, — неприятельские окопы.

Стал я на четвереньки и пополз. А штабс-капитан Дыркин возьми да и прийди в себя. Да так громко: «Ты куда, свиное ухо, меня несешь?!» Стукнул я его еще раз и дальше ползу, — дед заскреб обеими руками по столу и уперся хищным взглядом из под седых бровей в бутылку, — ползу... ползу... ползу... И вдруг прямо передо мной — неприятельский солдат, японец. Сидит в окопе и прижался головой к штыку. Страшный у них штык, как нож. Спит, наверное. Я его по голове кулаком — раз! Подобрал и его ружье. Перелез через окоп и потом бегом. Сзади стреляют, спереди — тоже. Пули только чирк, чирк, как пчелы. Не помню, как я добрался до своих. Но все с собой принес — и два японских ружья и их благородие в исправности. И что же вы думаете, братцы мои? Меня наградили солдатским Георгием, а штабс-капитана Дыркина — офицерским Георгием, и обернулось все так, что он меня с плена вывел!..

— Оно всегда так, — авторитетно заметил диакон. — Помню, наступали мы на Берлин. Я сам — артиллерийский капитан запаса. И был как раз у меня в батарее замполит полка майор Барамович. А тут, где ни возьмись, двадцать немецких танков, вышли из-за пригорка и прямо на батарею. Господи благослови! Перекрестился я, но не успел дать команды, как майор Барамович закричал: «Вы, товарищи, здесь подержитесь, а я сбегаю за подкреплением!» И ходу, только пятки сверкают. Ну, думаю, иди себе с Богом. «Братцы,» — глаголю я батареяцам, — «уповайте на Господа Бога, якоже милости Его безграничны и без воли Его ни единый волос с головы не упадет. Помолимся же, православные, и воспрянем духом. Бронебойно-зажигательными по наступающим танкам противника, дистанция 800 метров, прямой наводкой батареей... Огонь!!!» И пошло, пошло. Суций ад... Две пушки на батарее разбило, шесть убитых, другие все раненые. Но кое-как, с Божьей помощью, отбили танки. Четыре подожгли, остальные повернули назад. И что бы вы думали? — обратился диакон к Столбышеву, — мне орден Красного Знамени дали, а майору Барамовичу — Героя Советского Союза!

Столбышев пожал плечами:

— Несправедливо, конечно... Скажите, товарищ, — спросил он диакона, — а вы на самом деле в Бога веруете?

— С войны уверовал. Без Бога на войне нельзя... А вот и наш батюшка!..

Батюшку привели две старушки откуда-то из другого дома. Он ласково кивал головой во все стороны. Потом он посмотрел на стол и умиленно сложил руки:

— И чего только Господь Бог не сотворит? И кислое, и сладкое, и всяких фруктов и овощей...

— Мда! — неопределенно промывчал Столбышев.

— Садитесь, батюшка, сюда, садитесь...

Батюшка сел и боязливо посмотрел на другой конец стола: там уже назревал скандал.

★ — Кум! Может вы не очень бы налегали? Еще рано, а вы уже лыка не вяжете!..

— Ничего!.. Горько!..

— Не кричите, кум, как свинья какая-нибудь. Может, молодые семейные дела обсуждают, а вы пристааете.

— Кто пристаёт?!

— Да вы же, кум, назюзюкались раньше всех и уже скандалите.

— Ах, так?! Нет моей ноги за этим столом!.. Пошел вон! Не хватай за рукав! Отойди, а то плохо будет!..

— Да что вы, куманек? Садитесь!..

— Иех! — первые пуговицы брызнули с кумовского пиджака во все стороны, но драка не состоялась. Всему свой черед. Кума усадили, и он, горестно склонив голову на руки, просидел некоторое время в глубоком раздумье, а потом запел:

... Куманек, побывай у меня!..

... Куманек, побывай у меня, — подхватило сразу несколько мужских и женских голосов, и нескладным хором все грянули:

... Рад бы, рад бы побывать у тебя!.. Рад бы, рад бы, побывать у тебя!..

Песня все нарастала, нарастала, затем наперерез песне ударила гармошка плясовую.

— Гуляй, душа! — лихо выкрикнул дед Евсигней и пошел вприсядку, выделывая замысловатые кренделя помолодевшими ногами.

— Ай, да дед! Ай, да молодец! Эх!.. Эх!.. Стыдно вам, молодцы, стоять! Гляди, вон!

Через выкрики, музыку было слышно, как в одном конце деревни стройный хор старательно выводит «Ревела буря, гром гремел...» В другом конце с визгом и подсвистом резали «Барыню». А совсем близко раздавались выстрелы: это напившийся Чубчиков, выделенный в наряд для охраны порядка, стрелял по воробьиным гнездам из нагана.

Орешники гуляли. Гуляли три дня и три ночи. Спали, кто за столом между веселящимися, кто лез в кусты, кто забирался в сарай, избу. Ходили из хаты в хату, садились за стол, выпивали, а потом шли дальше. Пели песни хором и поодиночке. Почему-то дрались и тут же мирились, обнимались и целовали друг другу побитые физиономии. Там жена гналась за мужем с рычагом. Там муж таскал жену за косы. Молодежь разожгла костер посреди площади и бросала в него закупоренные бутылки с водой. Они громко лопались. Потом через этот костер прыгали все, кому не лень. Прыгал и Столбышев. Кто-то свалился в костер и чуть не сгорел. Стали искать фельдшера, искали, искали и не нашли. А он спал тут же, шагах в тридцати от костра в чужом огороде, между грядок.

Много бы бед натворили орешане за эти три дня и три ночи, но этого не случилось благодаря дяде Кузе, как его все называли. Откуда этот дядя Кузя взялся, кто он такой и куда он потом делся, никто не знал. Появился он вначале на свадьбе у Тырина. Сел за стол. Мало ли кто приходит и садится? Ешь и пей себе на здоровье. Ночью, когда кто-то с кем-то задрался, дядя Кузя их помирил. Потом еще кого-то помирил. Говорил он спокойно, рассудительно, но властно. И стали его принимать за старшего родственника. Потом, родственники невесты считали, что дядя Кузя принадлежит к родне жениха, а родня жениха считала, что дядя Кузя принадлежит к родне невесты.

— Дядя Кузя рассудит, он старший родственник!..

— Не веришь, спроси дядю Кузю, он не соврет!..

— Ты что шумишь? Хочешь, чтобы я дядю Кузю позвал?!

И был он нарасхват. Вначале на одной свадьбе, а по мере того, как

люди разбредались и перемещивались, расширялось и его влияние. На второй день выяснилось, что дядя Кузя никакой не родственник, но это не подорвало его авторитета. Наоборот, к нему стали относиться еще с большим уважением. Воспользовалась его влиянием и жена Столбышева. По ее просьбе он поговорил со Столбышевым, и тот покорно побрел спать к жене. И, может быть, остался бы там навсегда, но утром Семчук его потащил пить, и Столбышев так нагрузился, что только под конец третьего дня люди нашли его, случайно проходя мимо воробьехранилища. Двери хранилища были раскрыты настежь, и из них торчали сапоги Столбышева: бедняга не смог даже зайти во внутрь, как следует. Его растормошили. Он раскрыл глаза, поблуждал взглядом по потолку и развел руками:

— И когда же они успели улететь? .. На колу мочала, того этого, начинай сначала! ..

ГЛАВА XVI

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПОХМЕЛЬЕ

Тихо в Орешниках. На улицах ни души. Только кое-где из раскрытых окон слышатся жалобные голоса: «Огуречного рассола. . .» — «Мутит. . .» — «Голова. . . «Ох! . . .»

Три дня все праздновали, четвертый — приходят в себя.

Столбышев проспал часов до двух дня, потом приоткрыл тяжелые, словно свинцовые веки и посмотрел на потолок. Потолок был весь в подтеках, залепленный газетами, которые местами отстали, повисли лоскутьями, и эта картина беспорядка заставила его вспомнить о делах района. На двенадцать часов дня в райкоме было назначено экстренное заседание для обсуждения организационных вопросов уборочной и воробьепопоставок. Столбышев честно попробовал встать, но сразу же схватился за затылок и повалился на подушки.

— Может, тебе огуречного рассола выпить? — участливо склонилась Раиса над кроватью.

— Ножницы! — простонал Столбышев.

— Какие ножницы?

— Самые настоящие, острые ножницы!

Раиса опасливо посмотрела на любовника и потрогала его лоб ладонью. Но он был в здравом уме и сознании, потому что, немного постовав, объяснил:

— Я между двумя острыми ножами, так сказать. С одной стороны — режет уборочная, с другой — воробьепопоставки. И чуёт, того этого, мое сердце, перержут они меня, как ножницы букашку.

— Ничего. Ты возьми и свали вину на кого-нибудь.

— Эх! Маланин, Маланин, где ты? . .

Столбышев немного постонал, повздыхал, выпил три кружки огуречного рассола и повернулся на правый бок:

— А ну их с их собраниями, заседаниями! Если кто из райкома, того этого, придет, так ты меня разбуди.

— Тебя разбудишь. . .

Будить Столбышева не пришлось. День прошел спокойно. Ночью Столбышев выкрикивал во сне какие-то несвязные авральные команды и даже схватил лежащую рядом Раису за горло и прохрипел:

— Решения XX съезда партии знаешь?!

Раиса с трудом расцепила его руки и, опасаясь за свою жизнь, уш-

ла спать на лавку. Остаток ночи Столбышев провел спокойно и только изредка бормотал:

— Сократить сроки уборочной... Ответственность за уборку несет райком...

И ряд других цитат и выдержек из решений XX съезда.

А утром все закипело, как в котле. Столбышев схватился с кровати и, не умывшись, не позавтракав, выскочил из избы, на ходу надевая пиджак. Он бежал в райком с такой скоростью, словно за ним гналась стая волков, или он торопился занять очередь за селедкой. Вбежав в райком, он громко крикнул:

— Давай!.. Скорей!.. — и, опрокинув на ходу бухгалтера, стремительно ринулся в кабинет.

И началось светопредставление. Уполномоченные, особополномоченные, инструкторы, парторги, пропагандисты и другие представители легиона партийной бюрократии вбегали в кабинет секретаря и выбегали из него с жужжанием и хлопотливостью трудолюбивых пчел. Трещали телефоны, слышались возгласы и команды, все металось, натывались друг на друга, кто-то кому-то на ходу давал распоряжения, а из кабинета Столбышева каждую минуту слышались все новые и новые приказы:

— Все внимание на воробьепоправки!.. Уборочную на второй план! Все внимание на уборочную!.. Воробьепоправки на второй план!.. Отнести воробьепоправки и уборочную на второй план, заняться подготовкой зернохранилищ!.. Отставить подготовку зернохранилищ заняться исключительно уборочной!.. Считать, что воробьепоправки важнее уборочной!..

Те работники райкома, которым по долгу службы надо было сидеть на месте, писать, считать, подмытые общим водоворотом движения, без дела металось по зданию и усугубляли сутолоку. Райком напоминал собой горящий и тонущий корабль, на котором перевозили сумасшедших.

Паника, рожденная в райкоме, разносилась по району. В колхозе «Изобилие», как в самом близком к райкому, паника вспыхнула через пять минут после того, как Столбышев вбежал в свой кабинет. А в дальние колхозы, находящиеся на расстоянии 50-60 километров от районного центра, паника докатилась только на другой день, вместе с приездом партийного начальства. Поэтому первый день уборочной там прошел благополучно. Что же касается колхоза «Изобилие» и второго орешниковского колхоза «Знамя победы», то в них за этот день не убрали ни единого гектара и не поймали ни единого воробья.

Мирон Сечкин состоял в колхозе «Изобилие» и работал в бригаде Кошкина учетником. Когда началась паника, председатель колхоза Ягодкин приказал Кошкину:

— Бери бригаду и беги, что есть духу, к Зеленому Клину начинать уборку!

— А ну, бабоньки, бегом! — закричал Кошкин и сам пустился во всю прыть по дороге.

Нагруженные граблями, косами, серпами колхозницы сверкали на бегу голыми пятками и повыше подымали юбки для удобства движений. Мирон Сечкин, второй мужчина в бригаде, бежал замыкающим. На полпути к Зеленому Клину бегущую, как на пожар, бригаду встре-

тил штатный пропагандист райкома Матюков, прикомандированный в «Изобилие» одним из четырнадцати уполномоченных.

— Куда?!

— Убирать, к Зеленому Клину!

— Поворачивай к Марьиному Яру! Там надо начинать!

Теперь Мирон Сечкин бежал в голове бригады, а Кошкин — замыкающим. Груды колхозниц вздымались, как кузнечные меха, юбки взбились выше колен, волосы повыбивались из под платков и в беспорядке вились по ветру.

— Миронушка, не так шибко! — кричали запыхавшиеся женщины.

Мирон сократил темп и перешел на почтальонский шаг. Через полчаса ходьбы показался Марьин Яр, а из него выскочил на коне инструктор райкома Тришкин и галопом поскакал по пшенице, оставляя за собой помятый след.

— Куда?! — еще издали закричал он. — Поворачивай к Семеновому Броду! Ваша бригада назначена на ловлю воробья! . .

— А чем же ловить?

— Знать ничего не знаю. Приказано ловить, ловите хоть бабыми юбками! . .

Бригада Кошкина свернула с дороги и через лес, напрямик, пошла к Семеновому Броду. Шли не спеша. Под ногами трещали ветки. Первое напряжение спало. Очумелость от криков начальства прошла. Колхозники начали переговариваться, отпускать шутки и стали вести себя так, словно не было ни уборочной, ни воробьепопоставок.

— Страшно с вами, бабоньки, по лесу идти, — говорил Сечкин. — Вас пятнадцать, а нас, мужиков, двое.

У Семенового Брода их уже ожидал председатель Ягодкин. Он лежал на траве, подложив под голову портфель, и покусывал сорванную стебелинку. Лошадь его паслась рядом.

— Ну, чего, Кошкин, сюда припер? — усталым и недружелюбным тоном спросил он. Прослушав объяснения бригадира, он буркнул:

— Ты кого слушаешь? Кто твое начальство?

— А кто же его поймет, кто мое начальство?!

— Бегите к Зеленому Клину и начинайте уборку, как я приказал!

Но колхозники не побежали. Они уже достаточно набегались. Кошкин отвел бригаду в лес и скомандовал:

— Садись, отдыхай, бабоньки!

— Чего тут рассиживаться? Дома дети одни, голодные, без присмотра. . . — наперебой загалдели колхозницы.

— Ну, так айда по домам, — решил Кошкин, и все гурьбой поплелись к Орешникам.

То же самое было и с другими бригадами, и в «Изобилии», и в «Знамени Победы».

На следующий день колхозники явились на работу часов в одиннадцать утра. А некоторые так и совсем не пришли, справедливо решив: «А ну их к чортовой матери! Что мы лошади, что ли, без толку бегать? . . .» Этих начали приводить к правлению колхоза с милицией.

— Ну, подожди же мне, подожди, — грозил Сечкин Чубчикову, который насильно вел его на работу. — Придешь ты еще ко мне за поллитром! . .

— Мирон! Так я что? Брось! Сам знаешь, служба такая. Сказали тащить на работу, что поделаешь?..

В двенадцать часов дня бригада Кошкина вышла в поле. Приди в этот день колхозники в положенное время на работу, опять был бы такой же хаос, как вчера. Но пока колхозники собирались, уполномоченные и прочие руководители сумели рассчитать, кто за что отвечает, и кривая путаницы значительно спала. Правда, не обошлось и на сей раз без беспорядка, но уже не стихийного, а преднамеренного. Матюков, которому дали под присмотр уборку пшеницы на участке Зеленого Клина и для этого бригаду Кошкина, насильно угнал к себе на участок еще одну бригаду, занимавшуюся ловлей воробьев под присмотром Тришкина. Тришкин спал в кустах и обнаружил исчезновение бригады воробьевеловов только под вечер, когда проснулся от сырости земли, не обогреваемой более солнцем.

— Ах, ты ж, гад! — сразу же заподозрил он Матюкова и, вскочив на лошадь, помчал к Зеленому Клину.

— Ты что моих людей свел? — накинулся он на штатного пропагандиста.

Матюков пожал плечами и ответил старой истиной, которая явно противоречила коммунистическому учению:

— Своя рубашка ближе к телу.

— Ах, так?! Хорошо, я доложу Столбышеву!..

Тришкин, не любивший дорог и предпочитавший всегда ездить напрямик, поскакал по пшеничному полю в Орешники. Однако, жалоба его не произвела на Столбышева никакого впечатления. Секретарь райкома был чересчур возбужден. Он шагал по кабинету и радостно потирал руки:

— Ничего, Тришкин! Завтра ты получишь две бригады. Мы, того этого, со всем теперь справимся. Механизация, так сказать, решает успех на данном этапе. Директор МТС Гайкин глубоким рейдом по Демьяновскому району обошел с фланга пограничный ров, и колонна, так сказать, вырвалась из окружения Подколодного. Теперь, того этого, сюда на помощь идет наша мощная и самая лучшая в мире сельскохозяйственная техника!.. Тришкин, кричи «ура»!

— Ура!..

Мощная сельскохозяйственная техника действительно прибыла. К правлению колхоза «Изобилие» с громом и треском подкатил комбайн. Это была огромнейшая машина величиной с двухэтажный дом. С него спрыгнул вымазанный до неузнаваемости в масло и сажу комбайнер и с гордостью похлопал комбайн по боку:

— Во! Самый большой в мире!

Затем он нырнул в необъятную утробу самого большого в мире и оттуда, как из пустой бочки, прогудел:

— Ребята! А как бы разжиться у вас веревкой? Коробка скоростей отваливается, проклятая. . .

Веревку ему дали, и он долго, почти целый час, стучал в чреве комбайна, пыхтел, кряхтел и, наконец, вылез наружу:

— Сейчас поедем!

Через десять минут комбайн задрожал всеми частями, как желе на тарелке во время землетрясения, несколько раз выстрелил, пустил

облако дыма и загромыхал по дороге. За ним бежала толпа восторженных ребятшек:

— Едет! . . . Едет! . . .

Некоторые дети с визгом цеплялись за задок комбайна. Но кататься им долго не пришлось: через полкилометра комбайн ухнул, эхнул, по его огромному телу прокатилась судорога, затем он подпрыгнул и стал, как вкопанный, и еще долго от него, как от разбитой гитары, расходился волнами гул.

— А, чтоб тебя! — выругался комбайнер и живо нырнул в механическую утробу. Он долго там стучал, пыхтел и, наконец, спросил: — Ребята! Нет ли у вас гаечного ключа «три четверти»?

— Откуда?

— Придется ехать в МТС, — сообщил комбайнер, вылезая наружу. — У нас на всю МТС два гаечных ключа «три четверти», так что с машинами их не дают. Лошадку бы мне, я мигом. Туда сорок километров и обратно сорок, за два дня съезжу.

— А обратно везти гаечный ключ надо? — осторожно спросил предколхоза.

— А то как же? Там всегда на них очередь. Люди за сто километров приезжают. . .

— А, ну тебя с твоим комбайном!

— Как хотите. Мне все равно. А вы и за простой заплатите.

Председатель помялся, помялся и дал комбайнеру лошадь. И как не дать механизатору клячу? Простоит комбайн без работы, а все равно плати МТС. И плати немало, почти треть всего колхозного урожая.

Слабо подвигалась без механизации уборочная. Косы, серпы были оставлены в наследство еще дедами и прадедами. Теперь в СССР их почти не выделывают. Все внимание обращено на производство новейшей и мощной техники. И стояла эта техника посреди дороги, огромная, недвижимая и такая же полезная в сельском хозяйстве, как египетская пирамида.

В отличие от своих западных коллег, советский механизатор хорошо знает машины. Он знает, где надо вставить обыкновенный гвоздик, где подложить десятикопеечную монету, где вынуть лишний винтик, чтобы машина заработала. Поэтому, когда комбайнер привез через два дня гаечный ключ «три четверти», не прошло и трех часов, как комбайн двинулся в поле. Он, медленно покачиваясь, наползал на низкорослую чахоточную пшеницу, и летели во все стороны колосья, зерно, солома и даже комья земли. За ним на почтительном расстоянии шли шесть колхозниц и, ловко орудуя косами, скашивали то, что не захватил или пропустил комбайн. Во второй волне шло семь колхозниц и сгребали граблями растерянную комбайном солому. А в третьей волне шли две колхозницы и подбирали растерянные комбайном колоски. А еще дальше шли Кошкин, Сечкин, Матюков и, специально выделенный райкомом, уполномоченный по комбайну парикмахер Главнюков. И каждый из них занимался своей работой: Кошкин кричал на колхозниц; Сечкин записывал, сколько какая колхозница сделала; Матюков кричал на Кошкина и Сечкина; а Главнюков, за дальностью расстояния, просто показывал комбайнеру руками «жми, жми!» и иногда грозил кулаком.

Но эта идиллия социалистического механизированного труда про-

должалась недолго. Убрал за пять часов половину участка у Зеленого Клина, комбайн вторично сыграл мелодию разбитой гитары и остановился. На этот раз не помог и магический ключ «три четверти». Пока уполномоченный Главнюков бегал вокруг комбайна и давал парикмахерские указания механизатору: «Освежи подшипники. . . промылить бы свечи. . .», четыре колхозницы не спеша докосили вторую половину участка Зеленого Клина. Уже в темноте, согнанные с двух колхозов все лошади и коровы с трудом потащили на буксире комбайн в МТС на ремонт.

— Ничего, того этого, — раз обрел оптимизм, не унывал уже более Столбышев, — кое-где еще пока работают машины, а если и они завтра станут, то и то не беда. Главное, так сказать, это — правильные методы руководства массами и политическое сознание масс!

Поздно ночью были разбужены и вызваны в райком двадцать членов партии, в том числе заведующий магазином Мамкин, заведующий почтой Штемпильский, банщик Беспаров и другие, и все они, получив полчаса на сборы, поспешно были отправлены в колхозы теребильщиками.

— Ваше дело маленькое, — инструктировал их Столбышев, — не давайте никому дышать, теребите день и ночь всех и вся и, того этого, постоянно ходите за работающими, напоминайте, что надо удваивать и утраивать усилия. Вот и весь, так сказать, секрет руководства.

После этого Столбышев засел с заведующим отдела пропаганды и агитации райкома Точкиным за выработку плана политической учебы колхозников.

ГЛАВА XVII

ОТЛИВ

Советская система устроена так же, как берег моря. Тихо на берегу. Валяются в беспорядке камни, отбросы, ракушки. Идет обыкновенная сонная и неторопливая жизнь. Так продолжается некоторое время. Потом на берег набегают волны, все кружится в хаосе, брызжет пена, вода перебрасывает все с места на место грохочет, ломает. Берега как и не было, а вместо него кипящая пучина. Так продолжается тоже некоторое время. Затем тихо на берегу... В общем, читайте с начала. Бесконечная и всегда повторяющаяся история: прилив — отлив, прилив — отлив...

Тихо в райкоме. Тихо в кабинете Столбышева, Везде царит спокойствие и благодущие. Столбышев не спеша просмотрел районную сводку о выполнении уборочной, переправил пятьдесят на шестьдесят один и две десятых процентов выполнения и передал ее Раисе:

— Отпечатай, того этого, начисто... Полнеешь? — похлопал он ее карандашом пониже спины, широко зевнул и сладко потянулся: — Э-эх!

— А не много ли? — спросила Раиса, указывая на процентные данные.

— Какая разница?.. Успеем... Э-эх! Сходить бы рыбку половить от нечего делать...

Может быть Столбышев и пошел бы ловить рыбу, но к нему пришел председатель колхоза Утюгов и завел длинный и хитросплетенный разговор:

— Вы, дорогой товарищ Столбышев, нам, как родной отец, а мы вам, как дети. Разрешите же мне говорить перед вами, как перед самим Богом. Только правду-матушку. И излить вам все, что накопилось на душе...

Столбышев расползся на стуле, как кусок растаявшего масла на горячей сковородке, и милостиво кивнул головой. Утюгов быстро глотнул слюну, набрал побольше воздуха в легкие и его понесло, понесло. На протяжении часа он наговорил секретарю райкома столько комплиментов, сколько, примерно, за это же время все остальные мужчины в мире наговорили комплиментов своим женам, невестам и возлюбленным. И это даже при том условии, что в другом полушарии была ночь — время особенно щедрое на раздаривание ласковых слов.

Когда Столбышев раскалился уже до такой точки, что реагировал на слова Утюгова «что будет с райкомом, если вы, не дай Бог, зане-

дужаете?» скорбным вздохом и осторожным прощупыванием своего живота, Утюгов алчно облизнул пересохшие губы и перешел на трагический полусшепот:

— Как можно так надрываться на работе?.. Вы себя губите!.. Вы работаете один за всех. . .

— Надо жертвовать собой. Партия, так сказать, нас своей грудью вскормила. Для нее. . .

— Да, да, да!.. Мудрейшие слова. Но вы не имеете права сгорать на работе! История и партия вам этого не простят. Мое сердце обливается кровью, когда я вижу. . . Эх! Да что там говорить. . . — Утюгов вынул носовой платок и слезливо высморкался. — Вам обязательно нужен хороший помощник, — в порыве преданности посоветовал он. — Да, вам нужен помощник, хороший и верный человек. Такой, чтобы понимал и в сельском хозяйстве и в теории марксизма. Он должен быть такой, что стоит вам только спросить: «Утюгов! Скажи, как понимать, что бытие определяет сознание?» — председатель колхоза сделал эффектную паузу и вопросительно посмотрел на Столбышева.

Тот несколько расширил глаза и неожиданно заговорил с другом:

— А как у тебя, того этого, с воробьепостваками?

— Мало воробья в последнее время в наших местах стало.

— Что сделаешь? Перелетная птица. Они на зиму в теплые страны улетают. В Грецию, того этого, и вообще. . . Торопиться надо. . .

— Я и тороплюсь. Сегодня привез тридцать две штуки. Скоро привезу больше. . . Да. . . Значит, спросите вы помощника: «Утюгов, как понимать, что бытие определяет сознание?..»

— А уборочная, так сказать, ничего?

— Нормально. . . И вот должен он вам сразу же ответить: «Хорошо живет человек, значит, сознательный. Плохо живет — несознательный.» Вот, как надо отвечать!

— Мда. . . Начитан, — с нескрываемым уважением посмотрел Столбышев на Утюгова.

— Ого, вы еще не знаете меня! Или вот, например, как объяснить, что такое прибавочная стоимость?

— Гм. . . Как работаетя твоему дяде на месте Егорова? — спросил Столбышев, отводя взгляд в сторону.

Чуткий Утюгов понял, что взял неверный тон и сразу же перевел разговор на прежние рельсы:

— Золотко вы наше. Вы для нас, как солнце. . .

Минут через десять он опять высморкался и взгрустнул, что у секретаря райкома нет хорошего помощника. И лед тронулся.

— Ладно, того этого, я тебя рекомендую. Вот позвоню в обком и скажу: «Давайте Утюгова на место разоблаченного Маланина. . .»

— Спасибо вам, солнышко вы наше и благодетель вы наш. Так вот, значит, на заседании правления колхоза решили мы передать вам безвозмездно поросеночка, поскольку вы так трудитесь и нет у вас времени даже поесть. . .

— Отнеси-ка к Раисе на дом. А, вообще, так сказать, спасибо за внимание.

Крепкое рукопожатие и они расстались.

Сразу же после ухода Утюгова в кабинет поскребся Тришкин. Он

робко уселся на кончик стула и преданным взглядом посмотрел на секретаря райкома:

— Тяжело вам, товарищ Столбышев. А особенно с тех пор, как разоблачили и репрессировали Маланина. Вы все один, да один работаете... Я вот в партии двадцать годов. Проверенный и не буду хвалиться, но хороший партиец и честный работник. Образование, правда, у меня всего четыре класса...

— Это неважно, — перебил его Столбышев. — Ученые, того этого, пусть работают, инженеры строят, доктора лечат, а для партийного руководителя самое главное — верность.

— То и я говорю. Взять, к примеру, любого вождя. Образование, извините за выражение, у них, как у повивальных бабок. Не знает баба медицины, а умеет и пупок дитю перевязать и пошептать от злого глаза. Главное — практика и несгибаемая верность. Да!.. Вот, значит, думал я, думал, кого бы вам вторым секретарем...

— Обком рекомендует Утюгова...

— Правильная рекомендация, — разочарованно протянул Тришкин.

Он минуту помолчал, задумчиво соскреб с брюк прилепившийся комочек глины, потом быстро оглянулся на дверь и перешел на полусшепот: — Не такого вам человека надо. Назначат Утюгова, так он через неделю вытащит в райком вначале одного брата, еще через неделю — второго, третьего, дядю, тетю, шурина, бабушку, и не станет вам житья. Сами знаете, как они один за другого. Один колхоз под ними стонет, теперь уже и в другой они перекинулись, а тогда весь район к рукам приберут. Назначили вы Утюгова-дядю на место Егорова в «Зарю», так там уже в правлении целых шесть Утюговых ворочает. За неделю полколхоза разворовали и пропили...

— А я и не знал! — удивился Столбышев и сделал шаг к двери, словно его потянуло немедленно съездить в «Зарю». Во всяком случае, видно было, что он заторопился. Он стал посматривать на часы, на нудно расхваливавшего себя Тришкина, нервно позевывал и часто без всякой причины потирал руки. А Тришкин все хвалился и хвалился:

— У меня большие успехи. Я не такой, как другие. Я старательный. Под моим руководством за неделю пятьдесят воробьев поймали. Я еще не то покажу. Я умею руководить массами... Я... Моим... Я...

Столбышев нахмурился, сбросил складки на лбу в гармошку и зло посмотрел на Тришкина. Но гневные слова застряли у него в горле: Тришкин достал из портфеля газетный сверток, развернул его и поставил на растопыренные пальцы левой руки, как на подставку, сверкающий черным хромом сапог.

— Я работаю днем и ночью, — продолжал он. — Днем я руковожу, вечером я собрания провожу, а ночью я не сплю и все стараюсь, сапожки вам шью. Товарец первый сорт!

Тришкин нежно подышал на носок сапога и прополировал его рукавом своего пиджака:

— Я хороший сапожник. могу и дамскую обувь делать. Я учился у армянского мастера Мамикяна в артели «Сапог Востока»...

— Гм!.. Того этого... Хорошая работа, — сразу же проникся ува-

жением к Тришкину Столбышев. — А как у тебя со знанием марксизма?

— Я его на зубок знаю. Я всегда так: одной рукой сапоги шью, другой — партийные книжки изучаю.

— Ну, а как, так сказать, понимать, что бытие определяет сознание?

— Это просто. Кормит, например, хозяин собаку хорошо, она сознательно, хвостом машет. Не кормит — собака теряет сознание и может у хозяина курицу сожрать, или украсть что-нибудь. Оно, конечно, есть и такие собаки, что сытые воруют. . .

— Подкован не плохо, — оценил Столбышев. — А где второй сапог?

— Пока я один пошил.

— Гм!.. Надо тебе еще марксизм малость, так сказать, подзубрить. А, в общем, рекомендовать тебя можно. Неплохой второй секретарь будешь. Второй сапог тоже кончай. Я заплачу.

— При чем тут плата? — заскромничал Тришкин, простился и довольный вышел из кабинета. Прямо из райкома он поехал в полевой стан колхоза «Изобилие».

С самого утра в колхозе «Изобилие» никто не работал. Не работали и в других колхозах района. Согласно плана составленного Столбышевым и Точкиным, все должны были заниматься политической учебой. Как суеверный человек в тяжелые минуты жизни надеется на чудодейственную силу найденной на дороге ржавой подковы, так и каждый коммунист в тяжелые минуты прорывов и невыполнения плана надеется на чудодейственную силу политической учебы. Разница, пожалуй, в том, что суеверных людей никто не обязывает верить ржавому железу, а ЦК партии настойчиво заставляет каждого коммуниста верить в силу политической учебы. Он, этот ЦК, состоящий из взрослых людей, в каждом своем постановлении, чего бы оно не касалось — увеличения добычи угля или развития животноводства, — как на одно из главных условий успеха, указывает на политическую учебу. Ту самую учебу, которая отнимает время и делает невозможным достижение успеха.

И вот, все колхозники района вместо того, чтобы работать, уныло зевали, не слушая лекторов.

В колхозе «Изобилие» первым читал лекцию Главнюков — «Кто такой ренегат Карл Каутский?» На протяжении двух часов он перечитывал все ругательное, написанное полстолетия тому назад покойным Лениным по адресу покойного Каутского, и закончил свою лекцию неожиданным:

— Все, сказанное Лениным, должно вдохновлять на трудовой подвиг. Уборочную и воробьепоставки нужно выполнить раньше срока.

Вторым читал лекцию Матюков. Вернее, он не читал лекции, а просто прочитал вслух грамотным людям передовую из «Правды» — «Провести уборочную во-время и без потерь.»

Третьим лектором был Оторопелов. Он развернул «Краткий курс истории партии» и монотонным дьячком прогнусавил пять страниц, на большее у него самого не хватило терпения.

Четвертая смена — был Тришкин.

— Так вот, вы сейчас прослушаете, как сказано Карлом Марксом

о жизни и вообще о другом производстве, — он плюнул на палец, полистал в толстой книге, нашел нужное место и, сильно запинаясь, стал читать: — Религия, семья, государство, право, ма... мораль, наука, искусств... ово... искусство — суть лишь особые виды производства и подчиняются его особому закону, — пишет Маркс. И здесь он приходит к выходу... выводу о том, что идия... идия... идеологическая жизнь общества не имеет собственных объек... объективных законов развития, а подчинена общим развитиям производства...

— Манька, так что же — у нас с Гришкой не семья, а производство?

— Так выходит.

— А дети как же?

— Тоже производство!

— Ах, ты, паразит грешный! — зашептала одна колхозница другой, — хорошо ему в Москве сидеть, расписывать враки... В колхоз бы его, подлеца. Пусть уже нас, взрослых, за людей не считают, ну а дети почему производство?.. Ирод проклятый... Марла Карла... Ну, я ж им наработаю!..

— Встать! — скомандовал Тришкин. — Что за порядок: половина народа храпит во все носовые завертки, половина разговорчики ведет?! Эй, ты, там, в красной кофте! Повтори, что я читал!

— Попробуйте сами повторить!

— Не разговаривать!.. Садись!..

Тришкин поплюнул палец и перевернул страницу:

— Идио... идия... И-де-о-ло-гия...

Следующим читал лекцию Мостовой. Он уселся за стол, положил перед собой стопку записей, странно засмеялся и сразу же болезненно закашлялся. Кашлял он долго, прикрывая рот носовым платком. А глаза его в то же время пытливо прощупывали по очереди лица всех, сидящих просто на земле перед столом, колхозников. Потом он посмотрел вслед партийным работникам, которые, деловито размахивая портфелями, торопливо шагали в сторону полевого стана колхоза «Знамя победы», где у каждого из них по плану были намечены лекции. Затем Мостовой вытер посиневшие губы и тихим голосом объявил:

— Разрешите мне сказать несколько слов о международном положении.

Аудитория насторожилась. Исчезли неприкрытые зевки, смолк храп и гул разговоров. Международным положением в СССР интересуются все. Лекции на эту тему слушают всегда внимательно, не пропуская мимо ушей ни единого слова докладчика и каждый слушатель все время старается разгадать, что в действительности скрывается за ширмой тенденциозной пропаганды. Это — единственный способ получить хотя бы какое-то представление о положении в мире. Это — единственный способ установить намерения западного мира и поддержать свои надежды на освобождение.

— Коснемся вначале вопроса Североатлантического оборонительного союза, — Мостовой улыбнулся и добавил: — или, как принято говорить, агрессивного Атлантического союза.

Среди слушателей расцвели улыбки. А дед Евсигней тихонько толкнул локтем под бок Сечкина и удовлетворенно подмигнул. Дальше Мостовой короткими, очень понятными фразами рассказал, как соз-

дан Атлантический союз, какие государства в нем участвуют, сколько в нем дивизий, самолетов, как устроено командование, а потом тон его речи стал игривым:

— Смешно говорить, что Европе грозит какая-нибудь опасность. Могучий лагерь народных демократий, возглавляемый Советским Союзом, ведет последовательную мирную политику, и к войне, как вы сами знаете, наше правительство не готовится. Наша страна готовится только к обороне. Зачем же тогда Атлантический союз? Для отражения какой агрессии он создан, если, как вы сами видите, агрессии пока нигде нет. Поэтому Атлантический союз представляет собой большую угрозу делу мира. Поэтому вся прогрессивная мировая общественность осуждает его. Например, французская общественная деятельница мадам Шампунь, — Мостовой, сдерживая смех, закусил губы, — которая побывала у нас в Орешниках, написала от имени всего французского народа требование к своему правительству выйти из Атлантического блока. Мадам Шампунь в требовании пишет, что, посетив Орешники, она не видела никаких военных подготовлений и, стало быть, незачем и Франции заниматься военными подготовлениями. Очень логично и резонно! Правда?.. Правда?.. — допытывался Мостовой, и Сечкин, почесав затылок, с иронией ответил:

— Конечно, правда. Орешники на Францию не собираются нападать...

По рядам колхозников прокатился смех. Мостовой прикрыл рот платком и было видно, как вздрагивают его плечи.

— Ну, ладно. Осудили мы агрессивный блок, — проговорил Мостовой, вытирая платком легкую слезу смеха, выступившую у него на глазах, — а теперь о чем бы вам рассказать?

— Давайте про американских безработных! — раздались просьбы. — Про голодающих!..

— Любимая тема, — засмеялся Мостовой. — Хорошо же. Итак, начнем с того, что количество безработных в Америке все время растет...

— А то как же, — вставил дед Евсигней. — Уже скоро сорок лет растет... Вы лучше скажите, сколько получают безработные?

— На семью в три человека в месяц 120 долларов.

— А сколько там стоит сало? — спрашивал дальше дед Евсигней.

Мостовой сыронизировал:

— Это секретные сведения. Во всяком случае, узнал я о цене сала в Америке с большим трудом и как бы мне не влетело, если я вам скажу?

— Да, что вы?! Не смотрите, что здесь некоторые партийные. Мы люди свои, — за всех заговорил Кошкин, сам человек партийный, но из тех, которых во время войны чуть ли не за уши втянули в партию в надежде, что их все равно поубивают и потом можно будет записать в историю героический подвиг партии, потерявшей в боях с нацистами миллионы своих членов. Как только Мостовой сообщил, что фунт сала в Америке стоит двадцать три цента, колхозники сразу же взялись за расчеты и высчитали, что, исходя из цены сала — этого мерила всех ценностей среди людей, питающихся хлебом и картошкой, — американский безработный получает на советские деньги приблизительно пять с половиной — шесть тысяч рублей в месяц, что равняется зарплатке десяти тяжело работающих средней квалификации рабочих в СССР. Замечание Мостового, что в Америке сало дешевле

мяса и что по салу нельзя рассчитывать уровень американской жизни, не произвело ни на кого впечатления, и Кошкин громко выкрикнул:

— Раз сало дешевле мяса, значит, не голодные. Для голодного сало — это все!

— Эх, был бы я помоложе, да были бы ноги покрепче! — то ли пошутил, то ли на самом деле пожалел дед Евсигней.

— Граница, дед, на замке...

-- Дед Евсигней бы переполз. У него опыт с японской войны через фронт ходить!

— Го! Го! Го! — грохнули смехом колхозники.

Мостовой, довольно улыбаясь, собирал со стола бумаги и укладывал их в портфель.

ГЛАВА XVIII

СТАТЬЯ 58, ПУНКТ 10

Только несколько высокопоставленных лиц в Советском Союзе знают цифру заключенных в концентрационных лагерях и тюрьмах. Остальные, простые смертные, путаются в догадках: одни говорят, что заключенных десять миллионов; другие, что заключенных больше пятнадцати миллионов, а третьи до того интересуются цифрой заключенных, что их сажают в концлагеря и, если они выживают и выходят через десяток лет на свободу, все равно не знают, сколько заключенных, и только говорят: «Кто не сидел, тот сидеть будет, а кто сидел, тот не забудет». Трезвый вывод опытных людей.

И действительно, вряд ли в СССР можно найти такую семью, в которой кто-либо не сидел бы в прошлом, или не сидит в настоящем. И вряд ли есть в СССР такой человек, независимо от занимаемого им положения, его взглядов на коммунизм и от всего прочего, который был бы гарантирован от посадки в тюрьму в будущем. Получается это потому, что не нарушать советские законы постоянно и ежедневно могут только мертвые. И если всех живых нарушителей законов не сажают и они ходят на свободе, продолжая нарушать законы, то в этом надо усматривать великую гуманность власти, ее тихий и добрый нрав и долготерпение. Нигде, ни в одной стране мира нет столько государственных преступников, находящихся на свободе, как в СССР, и пусть будет стыдно тем, кто рассказывает сказки о советском терроре. Каждый советский гражданин почти каждый день нарушает уголовный кодекс по статье 58, пункт 10, предусматривающий преступления против режима в виде антисоветской пропаганды и агитации и карающий лишением свободы до десяти лет.

«С расстрелом при смягчающих вину обстоятельствах,» — попробовал пошутить какой-то гражданин, и суд нашел в его деле «смягчающее вину обстоятельство».

И вот, не удовлетворившись нарушением пункта 10-го 58-й статьи на протяжении всех докладов и лекций (зевки, храп, реплики и выкрики с мест), после окончания политической учебы на месте остались еще человек двенадцать закоренелых преступников. Остался и Мостовой. Он улегся на траву и, не вмешиваясь в беседу, только слушал. Вначале все ругали власть, желали ей всех погибелей в будущем и сожалели, что они не произошли в прошлом. В общем, велся обыденный для советских граждан разговор и было полное единодушие. Но как только заговорили о прошедшей войне и о немцах, разговор пере-

шел в спор. Сечкин рубил рукой воздух и доказывал, что если бы победили немцы, было бы хорошо, а Кошкин напирал на него животом и кричал:

— Ты видел, что они делали в оккупированных областях?! Ты знаешь, сколько они погубили нашего народа?!

Спорили они долго, и большинство было на стороне Кошкина. Даже дед Евсигней, приятель Сечкина, и тот стал нападать на него:

— Тоже мне нашел освободителей! Лучше уж терпеть своих паразитов, чем чужих... При этих нет жизни и при тех не было. Вот раньше, до революции, была жизнь! — дед поднял вверх указательный палец и сразу же сел на своего любимого конька: рассказы о прошлом.

— Помню, приезжаю я в город, — начал дед рассказ, и все, забыв о спорах, уселись вокруг него слушать. — В девятьсот седьмом дело было. Только-только меня из войска в долгосрочный отпуск пустили. Пропился, конечно, на радостях. Яко благ, яко наг. Что делать? Ехать в Орешники — денег нет, а жить в городе не на что. И надоумили меня люди начать заниматься извозом. Извозчиком, значит, стать. Хорошо сказать, а где деньги на лошадь, на фаэтон? — спрашиваю я их. Ничего говорят, пойдя к золотопромышленнику миллионщику Рябухину. Как бывшему солдату, он тебе, наверное, даст в долг. Ну, думаю, не убьет же он меня за спрос, в крайнем случае не даст, и дело с концом. Решился я и пошел.

Дом у него небольшой, но очень уж красивый, в саду, колонны белые, окна в человеческий рост из разноцветных стекол и перед домом фонтан. Просто картина. Там теперь председатель горсовета живет. Самого-то Рябухина, царство ему небесное, еще в семнадцатом году расстреляли. Девяносто лет было старику и то не пожалели. Впустили меня к Рябухину. Смотрю, сидит старенький-престаренький человек в коляске, у него уже тогда ноги отнялись, седой и весь в морщинах, а глаза, как у молодого орла, горят. «Что, — говорит он, — Георгиевский кавалер, от меня хочешь?» Рассказал я ему все, как есть. Не утаил и того, что были деньжата, да пропил. И попросил я у него в долг пятьдесят рублей. Говорю: «Дайте, если ваша милость, я вам и расписку, какую угодно дам. За мной не пропадет. И проценты, какие хотите, такие и наложите.» Обиделся тут Рябухин: «Ты что, думаешь, что Рябухин с Георгиевского кавалера проценты возьмет? На сто рублей и иди с Богом. Пропьешь — лучше на глаза не показывайся. Заработаешь, развернешься, тогда отдай эти сто рублей бедным людям. С меня хватит и того, что есть. А еще, — говорит, — знай, что главное в жизни труд. Я сам сорок лет назад приехал сюда без копейки. От восхода до захода солнца стоял по пояс в воде, золото старал, по капле во чего достиг. Работай, может, и у тебя будет удача. А не повезет, значит, сам виноват, или уж такая судьба.» И отпустил он меня с Богом, не спросив даже моего имени. Вот это был человек!

— А теперь дочь моя, которая живет в городе, младшая дочь, пошла в тот же рябухинский дом к председателю горсовета не займы просить, а своего. Муж у нее на войне без вести пропал. Трое детей у нее. Пенсии ей никакой не дают. Пошла она к председателю горсовета, так даже и на порог не пустил. Говорят, иди в горсовет, прием там в порядке очереди, от десяти до двенадцати, по вторникам и четвергам. Где же ты до него в горсовете доберешься? А добьешься, так пошлет

он к другому, другой — к третьему, и так до конца жизни можно пороги обивать. Вот тебе и рабоче-крестьянская власть! Рябухин, тот трудом своим добился, а эти паразиты языком да хамством добились. Языком да хамством держатся, будь они трижды прокляты! — дед Евсигней с ожесточением сплюнул.

— А что же дальше? — спросил Кошкин.

— Как, что дальше?

— Ну, после того как Рябухин вам дал сто рублей?

— А-а-а... — лицо деда преобразилось, стало задумчиво грустным, он подергал свою седую бороду, словно давал этим сигнал к отправлению, и опять поехал: — Эх! Братцы вы мои! Побежал я на базар. А базар, Господи Боже!.. Только птичьего молока нет. Все, что хочешь, да еще купцы да торговцы за полы хватают: купи пожалуйста! То теперь по три часа в очереди за селедкой стоят, тогда никто и не знал, что такое очередь. Потолкался я на базаре, да и купил себе плохонькую лошадку и старенькие дрожки. Все за восемьдесят рублей.

— Ну-с, стал ездить. Зарабатывал полтора рубля. Потом присмотрелся, где лучше места, стал зарабатывать по два-три рубля. Через полгода продал лошадку и дрожки, да еще и заработал на них пять рублей. Доложил своих денег и купил пару белых лошадей и фаэтон с кожаным верхом. Стал зарабатывать по пять-шесть рублей в день. Дальше — больше, и через два года было у меня уже четыре лошади и двое дрожек. Пришлось нанять человека. Был у меня такой Митрий Ярков. Он ездит ночью, а я — днем. Потом купил еще пару, потом еще. Митрия в 1913 отделил и дал ему бесплатно пару лошадей и дрожки — богатей, парень! И работало у меня тогда уже три извозчика. В общем, к революции было у меня двенадцать лошадей и держал я дрожки только на резиновом ходу. Два собственных домика было, в банке двадцать тысяч рублей. Во, как я за десять лет разбогател! А почему? Да потому, что чем больше богатых, так и тебе легче разбогатеть.

— Помню в 18 году посадили меня в Чеку. Говорят, ты, такой сякой, золото припрятал, давай, а то по кускам живого будем резать и солить! Поупирался я немного и пришлось отдать последние 600 рублей золотыми пятерками и десятками. Ну, а пока я упирался и сидел в камере, познакомился я с одним вором. Всю жизнь человек воровал да по тюрьмам сидел. И вот однажды говорит он мне: «При этой, — говорит, — власти и ворам житья нет. Раньше, бывало, залезешь к бедному, к богатому, все одно чем-нибудь поживешься: у одного сотню найдешь да пару шуб, у другого — тысячу, да еще и золото, брильянты. А теперь? Полез в квартиру известного доктора, так нашел полпуда муки и пару штопаного белья. Ну, как тут жить?! Пока ты соберешься украть, так власть уже без тебя успеет обчистить до ниточки... Надо и мне поступать на государственную службу.» И что же вы думаете? Поступил этот ворюга в Чеку работать. Большим начальником был, пока не расстреляли.

— Да... — дед почесал в бороде, расцвел улыбкой и, боязливо оглянувшись на слушателей, видимо, опасаясь, что они воспользуются его паузой и перебьют, начал быстрой скороговоркой: — Раз у людей деньги есть, так и у тебя будут. Помню, заработал я один раз сразу сто рублей. Вы знаете, что это за сумма была? Бутылка водки — 40 копеек,

— дед стал загибать пальцы, — фунт рафинаду — 8 копеек, аршин ситца — 14 копеек, хлеб — копейка фунт, ботинки, сноса им нет, три рубля, а за пять, это картинка... Что там говорить...

— Да, так о чем же я?.. Ага!.. Вот, значит, стою я около ресторана «Париж», жду седоков. Выбегают два молоденьких офицера. Пьяные, конечно. «Извозчик, — говорят, — сколько времени?» «Три часа дня,» — говорю. «А сколько езды до начальника гарнизона?» — спрашивают. «Минут десять.» «А если тихо ехать?» «Двадцать минут.» «Нам, — говорят, — надо два часа ехать и надо, чтобы ты в случае чего присягнул, что сели мы в фаэтон в три часа дня и ехали без остановок. Сумеешь исполнить — получишь сотку!» «Садись» — говорю. Натянул я вожжи и пустил лошадей на месте ногами месить. Едем еле-еле. Офицеры завалились на сиденье и отсыпаются. Таким образом, за полчаса проехал я шагов триста. Смотрел, смотрел на такую езду городской Феркунов, Яков Матвейч, и не выдержал, подходит: «Ты что? В участок хочешь?» «Помилуйте, — говорю, — Яков Матвейч! Нет таких законов, чтобы нельзя было тихо ехать.» Ну, и сунул ему рубль: нельзя же с городским в плохих отношениях быть. Мы зарабатывали на седоках, городские — на нас. Всем хватало. Еду дальше. Прошло два часа, все еще еду. Проснулись офицеры и говорят: «Дай нам, извозчик, сена пожевать, чтобы водочный дух отбило.» Вытащил я из-под себя клок сена: «Пожалте!» Человек я военный и службу понимаю, вот и говорю я им: «Как так? К самому начальнику гарнизона, к его превосходительству генерал-майору Дунаеву-Забайкальскому и не по форме, без шашек?!» Смеются офицеры: «Ничего, сойдет.» И сошло. Приехали мы туда за два часа с четвертью. Вызвали и меня к его превосходительству. Вхожу, смотрю: у офицеров — шашки. Ну, думаю, эти не пропадут. Пока они проходили по коридору, стянули с вешалки чьи-то шашки и, пожалте, по всей форме. И спрашивает меня генерал: «Когда сели?» «В три часа.» «Где останавливались?» «Нигде, ваше превосходительство. Могу присягнуть, что ехали без остановок.» Посмеялся генерал и отпустил меня с офицерами. Говорит: «В следующий раз напьетесь, набедокурите, так не открутитесь. Я, — говорит, — время буду назначать для прибытия, а так — моя ошибка, и приказ вы исполнили в точности, хоть и ехали больше двух часов. Идите!..» Офицеры рады. Генералу весело. А у меня сто рублей в кармане. Всем хорошо. Так мы и жили, братцы. Теперь во век того не будет. Я то пожил всласть, а вот смотрю на вас, на молодых, и грустно мне...

Некоторое время все посидели молча. В наступившей тишине было слышно, как трещат в траве кузнечики, жужжат пролетая пчелы, тонко пищат назойливые комары, которые в этих местах не переводятся до глубокой осени. Потом внезапно, как удар грома среди белого дня, раздался невероятный гул, свист, сотрясение воздуха, от которого задрожала земля, и все невольно втянули головы в плечи. И почти в тот же момент низко над землей стремительно пронеслись огромные четырехмоторные реактивные бомбардировщики. Все это произошло так неожиданно и быстро, что никто не успел сосчитать их. Мостовой, приподнявшись на локте, посмотрел бомбардировщикам вслед и только крикнул: «Шестнадцать!» — а они, словно бы, растворились

в воздухе. Не успели люди обсудить в чем дело, как Сечкин закричал:

— Смотри!

И все повернулись в направлении его вытянутой руки: высоко в безоблачном небе быстро вырисовывались белые полосы, как будто кто-то чертил по голубому фону невиданными перьями, обмокнутыми в молоко. Затем, наперерез толстым полосам, быстро понеслись тонкие белые нити.

— Истребители наперехват идут! — констатировал Кошкин и, возбужденный, посмотрел на остальных: — Может, война началась?.. — В его голосе послышалась и невысказанная радость, и тревога старого солдата, и надежда, и в то же время отчаяние.

— Осенние маневры, — спокойным голосом проговорил Мостовой и, сев на землю, слегка опираясь на правую руку, продолжал: — Хотите послушать сказочку?

— Военную?

— Нет, так, вообще... Обо всем и ни о чем, — улыбнулся Мостовой и начал:

— Много лет тому назад в некоем королевстве жил был иностранец. Борода у него была длинная и густая, шевелюра тоже длинная и густая. А под ней: некоторые говорили, что не густо, некоторые утверждали, что целый горшок мудрости.

В то же время в том же королевстве прозябал младенец. Трудящийся младенец. Злой, оборванный, эксплуатируемый, голодный и неумный. Плохо жилось младенцу, и его несправедливо обижали разные пузатые дяди.

Поскреб иностранец в бороде, жалостливо скривился, посмотрел на трудящегося младенца и вздохнул так, что от сюртука, подаренного ему одним пузатым дядей, отлетела пуговица.

— Надо помочь, — решил он, посмотрел на потолок, подсчитал теоретически на бумажке и сшил трудящемуся младенцу костюм. Костюм был пошит на взрослого, ибо младенец тогда еще не дорос носить костюмы, а бородатый мнил себя настолько большим теоретиком, что точно установил всю картину развития, роста и все особенности и размеры сложения младенца, когда тот станет большим.

Много в мире случается зла оттого, что люди не живут вечно. Сделал по ошибке что-нибудь человек, помер, но дело его живет. Жил бы он вечно, установил бы ошибку, исправил ее, и кругом одна приятность: человек жив, а дело его померло.

Помер бородатый теоретик, остался после него костюм да ученики-подмастерья. Бережно хранили они костюм, оставаясь до седых волос подмастерьями и не решаясь переделать хоть один стежок великого мастера. И когда трудящийся младенец стал взрослым человеком, подмастерья обтрусил с костюма пыль и явились к нему с видом заждавшихся благодетелей:

— Надевай, носи и благодари!

Но тут получился конфуз: трудящийся рос незаметно, рос сам по себе, не заглядывая в теоретические расчеты и предсказания, и вырос он широкоплечим, умеющим за себя постоять и даже брюшко, подлец, отпустил, не считаясь с тем, что по теоретическим расчетам ему вообще не полагалось живота — полное обнищание. Примерил он костюм и видит — не то. Цвет интернациональный, а он любит националь-

ный. Покрой несвободный, а он привык к свободе. Путаница, не поймешь, что к чему, а он привык к ясности. В общем, бросил трудящийся дегенеративный костюмчик и пошел по своим делам: на заседание профсоюза сгонять жирок пузатым дядям.

Остались подмастерья не у дел. Столько нафталина истратили, столько мечтали, и в результате — черная неблагодарность. И случился тут среди них раскол. Одни говорят: ошиблись, значит закрывай лавочку и иди за жизнью. Другие упорно не хотели сдаваться и, назвав первых «ренегатами», хвалились: наше время еще придет, были бы уши подлиннее!

Плохо жилось им. От голода в глазах появился алчный блеск. Стали они для прокормления заниматься отхожим промыслом. Там обманут, там ограбят, там наймутся — к кому, как и для чего — не важно. В общем, пробел теоретической несостоятельности со временем заполнился у них практическими навыками. Успех дела стал зависеть от наличия простачка. И, наконец, такой нашелся. То был Иван. Не беда, что костюм был шит не на него. Не беда, что Иван по теории бородатого, как аграрный человек, мог рассчитывать на одежду после целого периода предусмотренных теорией перерождений. Раз есть возможность всучить залежавшийся товарец, стоит ли придерживаться священных заветов? Хорошо бородатому — он мертвый. А подмастерьям жрать хотелось.

— Вот, Иван, как раз на тебя сшито! — стали они всю расхваливать.

Иван только-только сбросил николаевскую одежду и как раз примерял демократическую. Самый момент подсунуть заваль, лишь бы не стесняться в восхвалениях.

— Эх, друг Ваня! Что за вещь мы тебе даем! — изголодавшимися соловьями заливались подмастерья. — Здесь — земля крестьянам; здесь — заводы рабочим: штаны на фасон «братство и свобода»: карманы огромные, чтобы класть в них сколько хочешь, по потребности; работать будешь мало, по способности. Кроме того, кто был ничем, тот станет всем!..

— Как это так? — не понял, но обрадовался Иван и от восторга раскрыл рот.

— Очень просто. Сегодня ты — ничто, а завтра — все. Хи-хи, интересно?.. Бери скорее, а то тебя буржуазия обманет. Этот костюм предназначен тебе исторически, понимаешь, и-сто-ри-чески!!! — восклицали подмастерья, не моргнув натренированным глазом.

В общем, таких заманчивых предложений Иван ни от кого никогда не слышал и — пока он предавался восторгам: «Эх, и жизнь будет!» — подмастерья ловко напялили на него костюм.

Настала «эх, жизнь!» Ивану не вздохнуть, не повернуться, там жмет, там коротко. Костюм оказался куда хуже николаевского. Стал Иван выражать недовольство:

— Не подходит мне эта хламида!

— Ничего, — суетятся вокруг него подмастерья, — костюм правильный, да сам ты неправильный! Налю тебе подогнать себя под костюм, тогда все пойдет, как по маслу... Втяни здесь частнособственнический инстинкт, — это пережиток проклятого прошлого... Поясок затяни потуже. Туже!.. Еще туже!.. Ты теперь сам хозяин и должен

кушать поменьше. А здесь у тебя не хватает классовой сознательности. Видишь, как мешок висит? Выпяти! Ну, вот, теперь все отлично. Скажи спасибо!

— Спасибо!

Стоит Иван в неестественной позе. Что надо, втягивает; где надо, выпячивает. Но все равно не подходит ему одежонка. Рукава такие, что можно только от себя рукой двигать, а не к себе. Штаны «братство и свобода» узкие, ноги скованы словно кандалами. Огромные карманы «по потребности» пустые, как турецкий барабан, потому как — социализм, все принадлежит народу. Отдельный человек — не народ: ему ничего не положено. Заскучал Иван.

— Ничего, — говорят подмастерья, — потерпи год, все станет на свои места, и тогда — молочные реки и кисельные берега...

Прошел год, второй, третий идет, а что ни день, то все хуже и хуже. Стал Иван по-серьезному вырывать из проклятой одежды, вот-вот освободится.

— Подожди, Ваня!.. Что ты делаешь, самый передовой и умный?! — заплели языком кружева подмастерья. — Тебе принадлежит будущее. Жизнь забьет ключом: солнце второе соорудим, реки повернем вспять, горы с севера переставим на юг и наоборот. А пока — маленькая заминка, потому как капиталисты мешают. Получи четверть фунта хлеба в день, а через год...

— Пошли к чорту!!! — взревел Иван, и подмастерья сразу же ступшевались.

— Что же, сделаем шаг назад. Сними-ка, Ваня, на время пиджачек.

Легче Ивану без пиджака стало. Хоть штаны и давят, но все же показалось Ивану, что свобода полная. И за пару лет, работая по старинке, Иван восстановил здоровье.

Тем временем подмастерья, вкусив сладкой жизни за счет Ивана, решили, что с бородатым не стоит особенно считаться. Мало ли какая блажь старику в голову приходила, так из-за него теплых мест лишаться? Стали они костюм перекраивать, и у каждого свой вкус. Пошли споры.

— Ты что это рукав к воротнику шьешь?

— То есть развитие науки!

— Ах, ты ж, правый уклонист! Рукава к спине шить надо!

— От левого уклониста слышу!

— Дурак!

— Сам дурак!

— У-у-у!!!

Пока еще жил старший подмастерье споры не перерастали в драку, а как он помер, так и пошло...

— Бей!.. Режь!.. Коли!.. Утюгом его, утюгом!!

Левые и правые дерутся, крушат друг другу головы, выпускают кишки. И нашелся среди них не левый, не правый, а просто хитрый, который понял, что дело не в том, как какой рукав пришить, а дело в том, чтобы пиджак был покрепче, тогда и положение подмастерьев станет крепким.

— Ну, что ты с этими дураками сделаешь?! — проговорил он, глядя на перекройщиков, помог им взаимно друг друга уничтожить, стал

главным хозяином, набрал себе подчиненных и суровыми нитками прошил весь костюм.

— Надэвай, Ваня! . . . Теперь все правильно, все вражеские искажения переделаны! — и напялил на раздевшегося Ивана жесткую робу.

— Нэ крычи, — предупреждает он, — за границей еще хуже живут. Они тэбя раздэть хотят — защищаться надо. Надуй индустриализацию, выпяти коллективизацию, нэ ешь, нэ пей, все на оборону! Отстаивай великие завоевания, иначе пропадэш. . .

Новый хозяин рассчитал правильно.

Первая мудрость — когда костюм жмет все время, его сбрасывают.

Вывод — расстегни пару пуговиц на время, станет свободней — не сбросят; потом снова, застегни, тоже не сбросят, будут ожидать, что костюм опять станет просторнее; потом снова расстегни, застегни. . . довольны не будут, но терпеть будут.

Вторая мудрость — человек ест горький хрен и терпит, пока не попробует сладкого яблока.

Вывод — не показывай, что где-то есть лучшее, утверждай, что яблоко горше хрена, что счастлив тот, кто хрен ест, — а поэтому каждый защищай хрен, ибо нас, мол, хотят обмануть и подсунуть яблоко.

Третья мудрость — первые две мудрости хороши на время и не могут быть постоянной гарантией.

Вывод — первая мудрость позволяет выиграть время, вторая мудрость дает возможность заставить человека отдавать все для защиты. Первое, умноженное на второе, должно дать силу, которая одним ударом уничтожит неравенство в мире. Все будут есть хрен и ходить в тесных костюмах, не будет сравнения и все будут счастливыми. Конец.

Вопрос: зачем все это?

Ответ: у подмастерьев нет другой специальности и не лишаться же им с трудом добытых теплых мест, памятников при жизни, неограниченной власти, надежды влезть в исторические личности — только потому, что люди хотят жить по-своему? . . .

На этом месте Мостовой вынужден был прервать свою сказку: Мирон Сечкин подсел рядом с ним на траву и тронул его за рукав:

— А если мы хотим жить по-своему? — спросил он.

— Живите, — пожал плечами Мостовой.

— Не дают жить. . .

Мостовой посмотрел в упор на Сечкина, плотно сжал губы и, неожиданно схватив его за ворот рубахи, стал душить. Лицо Сечкина посинело и он освободился, сильно рванувшись.

— Сам дай себе жить, — спокойно проговорил Мостовой, поднялся и не простившись ушел.

Вечерело. Солнце почти уже скрылось за линией горизонта. Небо на западе покрылось ярко багровой краской, словно там, далеко от Орешников, за краем земли бушевало пламя огромного пожара.

— Войны не миновать, — задумчиво протянул дед Евсигней, глядя вслед Мостовому. — Жаль, не дали человеку досказать сказки. . .

— А чего досказывать? — пожал плечами Сечкин. — Все и так ясно. Только круглый идиот не поймет, чем все это кончится. Другое интересно узнать: как от такой напасти избавиться? . . .

Маленький рыжий колхозник Смирнов, который до сих пор не при-

нимал участия в спорах и разговорах и только все время утвердительно кивал головой, вздохнул, почесал затылок и заговорил:

— Интересно и правильно рассказывал товарищ Мостовой про костюм. Ну, а мы то при чем?.. Зачем мне костюм или, например, в газетах пишут: капиталисты или Черчилль с сигарой?.. Все это дело темное, а мне детей кормить надо. Вот дадут в этом году на трудовень по двести грамм, что делать, как жить?.. — Смирнов обиженно заморгал глазами и почти плача выкрикнул: — Аденауэр костлявый!!! — потом он оглянулся вокруг и, увидев улыбающиеся лица, извиняющимся тоном произнес: — Детей жалко, до того жалко, что взял бы и пошел убивать. . .

— Кого? — поинтересовался Сечкин.

— А мне все равно кого, лишь бы детям жилось лучше. . .

Стемнело. На западе догорал пожар заката. В редких домах в Орешниках засветились окна. То счастливики, добывшие после многих мытарств в областном городе керосин, зажгли допотопные лампы. И опять над Орешниками с ревом и свистом пронеслись реактивные самолеты.

— Хоть бы война скорее. . . Может, кто один победит, легче жилось бы, — с грустью проговорил Смирнов.

ГЛАВА XIX

ШТУРМ

В райкоме тишина, нарушаемая только однообразным назойливым жужжанием мух, бьющихся в закрытые окна. Столбышев привычным росчерком пера подписал сводку в обком об успешном ходе уборочной и, позевывая, бегло просмотрел донос Тришкина на все семейство Утюговых.

— Сапоги бы поскорее кончал, а то, того этого, пишет, пишет. . . — он отложил творение Тришкина в сторону и, поудобнее устроившись в кресле, закрыл глаза. Но в кабинет постучали. Вошел зоотехник Ковтунов. В правой, вытянутой вперед руке, подобно тому как жених держит букет, Ковтунов держал большой, из газеты сделанный кулек.

— Это чего? — недовольно буркнул Столбышев.

— Дохлые воробьи! — Ковтунов просиял самодовольной улыбкой и добавил: — Научные испытания окончены. . .

Он вынул из бокового кармана объемистую общую тетрадь и с достоинством прочел написанное на обложке заглавие: — «Правильный режим ухода за воробьем». . .

— Интересно! — заметил Столбышев. — Это очень своевременный труд, а то, так сказать, естественный падеж поголовья большой. А дохлые, того этого, воробьи зачем? . .

— Для отчетности. Все десять штук налицо.

— Мда. . . Отчетность — большое дело. Ну, а какой же режим для воробья?

Ковтунов откашлялся и тоном большого научного исследователя начал:

— Итак, для разрешения проблемы вначале я подверг воробьев голодовке и установил, что в первый день голодовки воробьи проявляли следующие симптомы: чирикание стало замедленным и достигало в среднем двенадцати подач голосом в час, по сравнению с двадцатью и шестью десятками при нормальном питании. Движение головой из стороны в сторону участилось. . .

— Гм! . . . Того этого, а когда же дохнуть начали?

— Обождите, — заспешил Ковтунов, — тут еще очень много важных научных наблюдений. Все — на тридцати семи страницах. . .

Как ни лень было Столбышеву слушать, но, видимо, опасаясь, что его могут обвинить в зажиме научной мысли, он изобразил на своем лице полное внимание и качнул головой:

— Продолжай.

На протяжении часа Ковтунов описывал подробную картину медленной гибели голодных птиц, а потом сделал глубокомысленное заключение:

— Учитывая тот неоспоримый факт, что первая птица погибла точно по истечении 57 часов 43 минут после последнего приема пищи и воды, а десятая — по истечении 106 часов 36 минут, при уходе за воробьями следует избегать задержки в кормлении и поении на срок, продолжительнее среднего времени. То-есть, кормить и поить надо не позже, чем через 81 час после последнего приема пищи и воды.

— Правильно, — одобрил Столбышев. — При таком режиме падеж сократится на 50 процентов. Молодец, Ковтунов!..

Польщенный Ковтунов зарделся, как красная девица и, голосом срывающимся от волнения, спросил:

— А не нужно ли сделать к научному труду предисловие, что в СССР впервые применен научный подход к режиму содержания воробья в то время, как реакционная буржуазная наука не дооценивает этого вопроса.

— А то как же!.. Обязательно надо! Иначе, того этого, это будет не научный труд, а чорт знает что...

После того, как Ковтунов ушел, бережно прижимая к груди тетрадь, и унес с собой завернутые жертвы передовой советской науки, Столбышев, оставшись один, написал во втором томе книги «Учет поголовья воробья» минус десять и изрек:

— Они погибли ради счастья других воробьев!

Сделал это он, наверное, по привычке говорить надгробные речи над могилами безвременно умерших от всех прелестей советской власти. Затем он достал из ящика письменного стола потрепанную книгу «Дети капитана Гранта» Жюль Верна (дореволюционное издание, с картинками), аккуратно вложил ее в раскрытый 12-й том собрания сочинений Ленина и стал с наслаждением читать. Он усиленно шевелил бровями, охал, эхал и так увлекся чтением, что не заметил, как в кабинет вошел Матюков. Матюков кашлянул, и Столбышев, быстро хлопнув книгу, показал ему обложку:

— Изучаю, так сказать, гениальное наследие великого Ленина...

Столбышев спрятал гениальное наследие в ящик стола и встревоженно посмотрел на Матюкова, но потом успокоился.

— Что нового?

— Из области прислали глухонемого для избрания его вторым секретарем...

— Как глухонемого?! — чуть не подпрыгнул от удивления Столбышев.

Матюков беспомощно развел руками. Рекомендованный, а если отбросить в сторону игру в партийную демократию, то просто назначенный обкомом второй секретарь и действительно не говорил ни слова и молча показывал, сгрудившимся вокруг него райкомовцам, сопроводительные бумаги. Одет он был в длинный разноцветный восточный халат. На голове у него была бухарская тюбетейка. Да и сам он выглядел не то узбеком, не то казахом.

Столбышев обошел вокруг него, как вокруг чучела в музее, осмотрел его со всех сторон и, коверкая для лучшего понимания русский язык, спросил:

— Твоя, моя, того этого, понимай?

Второй секретарь выпучил черные, как уголь, глаза с желтыми белками и молча сунул в руки Столбышева бумаги. Столбышев почесал затылок, силясь что-то вспомнить, и потом выложил все известные ему восточные слова:

— Кишлак, ишак, арык, якши, декханин, Аллах, понимай?

Второй секретарь закивал головой и заговорил быстро гортанным голосом что-то длинное и непонятное.

— Мда! . . . Хорошего ишака прислали, — вздохнул Столбышев и стал просматривать бумаги.

Из бумаг явствовало, что рекомендованный товарищ прозывается Юсупом Ибрагимовичем Баямбаевым и был до этого парторгом в одном из колхозов Узбекской ССР.

— Почему Орешники? Почему не Узбекистан? — спросил Столбышев Баямбаева.

Тот подумал, переспросил:

— Узбекистан? — и опять заговорил быстро, длинно и непонятно.

— Подождите, — вмешалась Раиса. — А как фамилия нового заведующего сельскохозяйственным отделом обкома?

— Баямбаев, — неожиданно вспомнил Столбышев и сразу же обратился к приезжему: — Обком, Баямбаев, знаешь? Арык, кишлак, того этого?

Тот закивал утвердительно головой и стал показывать на пальцах:

— Марьям, — показал он на мизинец, — Фатима, — показал он на следующий палец, — Ибрагим, — показал на средний, Юсуп, — он поднял указательный палец, а потом ткнул себя им в грудь и, наконец, показав на большой палец, произнес: — Абдул Баямбаев, — и уже всей пятерней показал куда-то вдале.

— Значит, брат заведующего сельхозотделом, — догадался Столбышев. — Младший братец приехали-с. . . Очень приятно, так сказать, — Столбышев шаркнул ножкой и произнес в сторону: — Что, того этого, поделаешь? Пусть числится вторым секретарем.

Через час Баямбаев расположился на месте Маланина. Он просто на полу постелил небольшой коврик, уселся на него, поджав под себя ноги, и, напевая тягучую восточную песню, стал вышивать разноцветными шелковыми нитками тюбетейку.

— Здорово получается, — говорили столпившиеся вокруг него райкомовцы.

— Якши? — вертел тюбетейку в руках второй секретарь.

— Якши, якши, — отвечали все.

День клонился к вечеру. Назойливо жужжали мухи, стучась в закрытые окна. Райкомовцы, утерев интерес к вышиванию шелком, наговорившись вдоволь, сидели на своих местах и, позевывая, томились. Даже бухгалтер и тот перестал отсчитывать на счетах народные деньги, истраченные на содержание штата райкома. Но вдруг сонную тишину расколол резкий телефонный звонок. Раиса бросилась к аппарату и перепуганно зашептала:

— Сейчас. . . позову. . . сию минуточку. . .

— В чем дело? — выбежал из кабинета всполошившийся Столбышев.

Обком! — простонала Раиса.

— Слушаю! Столбышев.

— Ты что? Под суд хочешь? Трам, тарам, там, там!!! — запрыгала, изрыгая ругательства телефонная трубка. — Очковтирательство?! Трам, там, там!!! С живого не слезу! Чтобы через два дня уборочная была кончена! Работайте днем и ночью! Не давай никому жить! Трам, тарарам, там, там! !

Полчаса трубка прыгала в дрожащей руке секретаря райкома и, казалось, что она вот-вот, не выдержав крика и забористой ругани, взорвется и разнесет в щепки и голову Столбышева и все вокруг.

— Ну, начался штурм! — решили райкомовцы и забежали, как угорелые, по зданию.

— Где инструкция номер 26439?

— Переворачивай этот шкаф!

— Да не тут! Куда на пол бумаги швыряешь?

— Беги скорее в «Изобилие»!

— Стой! Не в «Изобилие», а в «Знамя победы»!

— Не загораживай дорогу!

— Ох! Куда на ноги прешь?!

— Кишлак якши?

— Иди ты со своим кишлаком, идиот несчастный! ! !

— Свистеть всех на палубу! — закричал Столбышев, неизвестно почему пользуясь морскими терминами. — Аврал!!!

И все потонуло в хаосе.

Не имея времени даже созвать руководящих работников на совещание в райком, Столбышев, побегав час без толка, охрипнув от крика и команд, бросился к телефону и, уцепившись за него, как за якорь спасения, захрипел:

— Центральная! Центральная! Подключить к моему телефону все телефоны района! Срочно! Да, одновременно! Альо! Всем! Всем! Начинается всерайонное совещание по телефону!

Три часа Столбышев кричал, давал приказы и распоряжения, слушал одновременно отчеты нескольких лиц. Все совершенно перепуталось.

— Конь сивый ногу сломал! — кричали из колхоза «Рассвет», и одновременно из другого колхоза докладывали, что уполномоченный райкома запил и не работает.

— Тащи в райком! — орал Столбышев.

— Кого? Коня?

— Нет уполномоченного!

— Сейчас еду!

— Да не тебя! Другого!

— Какого другого?

— Альо! Альо! Матюкина в райком тащи!

— Нет у нас Матюкина!

— А кто сломал ногу?

— Сивый.

— Тащи сивого!

— Так это же конь!

— А почему ты говоришь, что он запил?

— Это я говорю.

— Кто — я? Почему сивый пьянствует?

— Нет у нас сивого. У нас — Матюкин.

— А кто ногу сломал?

— Сивый!

— А у нас из строя транспорт выбыл!

— Кто говорит?

— Утюгов.

— Который Утюгов?

— Нет у нас Утюгова. У нас — Матюкин!

— Стой, не с тобой говорю! Стойте все! Молчать! — заорал выведенный из себя Столбышев. — Всем мобилизовать старых и малых, школьников и все, что движется. Нажимайте! Не давайте никому дышать! Через полтора дня уборочная и воробьепоправки должны быть кончены! Трам, тарам, там, там!!! Под суд отдам! Шкуру спущу!..

Ночью полил дождь. Спотыкаясь в крошечной темноте о кочки, промокшие до последней нитки колхозники на ощупь косили пшеницу и рожь Кто-то кого-то впотьмах задел по ноге косой и раскроил ее до кости. Кто-то сам себя резанул серпом. Где-то свалилась груженная снопами телега с лошадьми в обрыв. Беременная колхозница, выгнанная в поле, тут же и рожала. Над районом стояли стон, ругательства, окрики уполномоченных, особоуполномоченных. Казалось, что или весь мир сошел с ума, или наступает страшный суд.

Под утро дождь перестал лить, и чуть только забрезжил мокрый рассвет, половину колхозников сняли с уборочной и бросили на ловлю воробья. Изнеможенные ночной работой люди двигались, как сонные мухи.

— Хватай! — толкал под руку колхозника уполномоченный, и воробей поржал в сторону. Если уполномоченный не толкал под руку, то измученный колхозник и не думал хватать.

— Ты что стоишь? Лови!

— Иди ты! — мрачно отвечал колхозник уполномоченному, а тот уже маячил около другого:

— Лови, тебе говорю!

Днем все районное начальство было потрясено неожиданным событием: Мирон Сечкин поймал и доставил в целости на приемный пункт сорок шесть воробьев. Рекорд «знатного воробьялова» Сучкиной был перебит. Столбышев вначале даже растерялся и, вызвав к себе Сечкина, стал его упрекать:

— Нехорошо, того этого, товарищ Сечкин, подрывать авторитет партийных органов!

— Почему? — удивился Сечкин. — Ведь вы же сами все время призывали всех перекрыть рекорд Сучкиной!

— Так то так, — согласился Столбышев, — но вы же не маленький и понимаете, что рекорд, так сказать, должен быть организованным, в нем должна быть вдохновляющая роль партии..

— А вы возьмите и напишите, что целый день меня вдохновляли..

— Мда.. Правильный оргвывод и честное отношение к делу, — успокоился Столбышев.

Сечкин вышел из кабинета секретаря райкома и, не в силах от радости удержать себя, бросился бегом к воробьеохранилищу.

— Ну, вот и подложили свинью Соньке-рябой, — еще с хода кричал

он деду Евсигнею, который со старой берданкой в руках охранял воробьеохранилище.

— Ну, и слава Богу, — обрадовался дед. — Не видать теперь паразитке ордена, как ушей своих! . .

Все же, Столбышеву, наверное, тяжело было переживать поражение выпестованной им «героини воробьеловства», потому что он пошел к Соньке-рябой, разбудил ее и, глядя на опухшее от сна лицо ее, пробурчал:

— Почиваешь, так сказать, на лаврах, на данном этапе?

— А чаво? — огрызнулась Сонька. — Я поработала, тыперича пусть другие работают!

— Поработала, говоришь? — возвысил голос Столбышев. — По какому ты, того этого, участку показатели дала?! Я ставлю вопрос конкретно, на сегодняшний день, где твой рекорд?!

Сонька-рябая, не понимая причины раздражения секретаря райкома, заморгала белыми ресницами и неуверенным тоном спросила: —

— Разоблачили кого-нибудь из вождей? . .

— Я тебе покажу «разоблачили»!!! — грозно, но с отеческими нотками в голосе прокричал Столбышев. — Иди, лови, а не то, так сказать, я за успехи не ручаюсь!!!

Но без специальных тепличных условий, без многочисленных помощников, «знатный воробьелов» выполнила не рекордную, а простую норму улова точно на ноль процентов и столько же десятых. Звезда Соньки Сучкиной закатилась, — конечно, «не насовсем», но на поприще воробьеловства она не могла уже пожать почести, ордена и прочее, что ранее сыпалось на нее из рога партийного изобилия.

Тем временем Мирон Сечкин с помощью Евсигнея готовил еще больший рекорд на следующий день.

Дед Евсигней держал отогнутую от задней стены воробьеохранилища доску, а Сечкин, подставив к образовавшейся дыре сетку, длинной палкой шарил внутри помещения.

— Давай, давай! Ловись и большие, и маленькие! . .

— Смотри, Мирон, еще орден получишь!

— На кой он мне? Да и не дадут. Если бы рекорд готовился райкомом, тогда — другое дело. Ну, хватит. Отпущай доску. Они нас обманывают, а мы — их! . .

На следующий день, как то и бывает при всех штурмах, Орешники украсились плакатами, лозунгами, диаграммами. Десятки людей, спасаясь от работы в поле, писали, рисовали, придумывали тексты.

— Кто, того этого, скажет, что мы не мобилизовали все силы на выполнение плана? — спрашивал Столбышев сам себя, разглядывая украшенные стены и заборы. — Надо, так сказать, в отчете упомянуть о высоком уровне организационных мероприятий. «Поднять воробья на недостижимую высоту», — прочел он один из лозунгов и прищелкнул языком: — Правильно!

Мимо него по улице два комсомольца прогнали табун школьников младших классов.

— Грузить снопы будем, — на ходу рапортовал один из погонщиков.

— Правильно! Того этого, нажимай на них! Пусть привыкают к труду.

Столбышев круто повернулся и, заложив руки за спину, пошел к райкому.

У райкома стоял грузовик, полный людей в городской одежде.

— Вот, из области прислали на подмогу, — доложил Матюков.

— Опять, того этого, акушерские курсы?

— Нет, музыканты. Эй, скрипка! Пойди сюда...

С грузовика спрыгнул худой, как щепка, человек лет двадцати и, поправляя на ходу очки, подошел к Столбышеву.

— Мы — студенты областной консерватории имени Чайковского, — начал он робко. — Мобилизовали нас на уборочную. Только, пожалуйста, нам полегче работу. Мы все скрипачи. Знаете, пальцы надо беречь...

— Матюков! Ты, того этого, косить их пошли!

— Пальцы, понимаете?...

— Что мне — пальцы? — перебил Столбышев. — Мне уборочную проводить надо. Разгружайтесь и айда!.. Тоже мне помощники... — Столбышев с головы до ног окинул студента презрительным взглядом.

В это время со стороны грузовика донеслась тихая скрипичная игра. Матюков разозлился и со словами: «это тебе не опера!» подошел и дернул играющего за скрипку.

— Осторожней! Это копия Страдивариуса! — завизжал тот.

— А по мне пусть она хоть копия самого контрабаса! Слезай и — косить!

Студенты, бережно держа в руках скрипичные футляры, по одному стали слезать с машины, и, наконец, на ней остался один человек, явно не похожий по внешнему виду на питомцев консерватории имени Чайковского. Он сидел на борту кузова, засунув руки в рукава замасленного пиджака. Под одним глазом у него красовался синяк. Левая щека, заросшая седой щетиной, распухла от флюса. А сизый нос его был величиной с хороший огурец.

— А вы кто? — спросил его Матюков.

— С производства, — прохрипел тот, приоткрывая лишь правую половину рта, — с завода «Красный пролетарий». Направили на уборочную. Член партии Ленинского призыва с 24-го года.

— Ценный работник, — проговорил Столбышев, подходя к машине.

Ценный работник посмотрел на него без улыбки и прохрипел:

— Хотели послать к вам другого, да запил я, и вот, в наказание, на уборочную...

— Назначая вас старшим над скрипачами. Вот, того этого, Матюков с вами утрясет все вопросы...

Неожиданно из за угла показались мчащиеся на полном ходу подводы и бочки орешниковской пожарной команды. На передней бочке, рядом с брандмайором в медной блестящей каске, стоял растрепанный Семчук и, дико вращая глазами, кричал:

— Гони скорее! Гони, что есть духу, вывозить зерно из «Изобилия»!

Пожарный трубач заиграл в горн.

— Организация сдачи зерна государству — главная обязанность партийных и советских органов! — под звуки пожарной трубы процитировал Столбышев выдержку из циркуляра обкома.

ГЛАВА XX

«ЖИЛ БЫЛ У БАБУШКИ СЕРЕНЬКИЙ КОЗЛИК...»

Отшумела паника уборочной, Мрачные предположения, что колхозникам достанется по 200 граммов зерна на трудодень, оказались оптимистическими. В некоторых колхозах дали по 150 граммов, а в некоторых колхозникам ничего не припало и они еще остались должны государству. Правда, им все же выдали по два пуда пшеницы на человека в счет наделов на трудодни следующего года. Не смущаясь этим обстоятельством, Столбышев организовал «праздник урожая». И ограбленные должны были веселиться.

В самый разгар праздника в Доме культуры «С бубенцами», когда орешниковский любительский хор пел песню «Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей!», к Столбышеву, сидевшему в первом ряду, подошел Семчук и подал телеграмму. Столбышев прочел ее, сильно потряс Семчуку руку, выбежал на сцену и, став перед неловко прервавшим песню хором, возвестил залу:

— Товарищи! Приемочная комиссия, того этого, на данном этапе, из Москвы, конечно... — он судорожно глотнул воздух и, не в силах удержать радость, хрипло прокричал: — Ура!!!

Несколько нестройных голосов из зала поддержали его. А Сонька-рябая, видимо, пытаясь возместить неудачи на поприще ловли воробья безграничным подхалимством, подбежала к секретарю райкома, обняла его, заплакала и громко выкрикнула:

— Спасибо дорогой и любимой партии за заботу!..

После окончания торжеств, вылившихся из «праздника урожая» в «праздник победного воробьевловства», как его на ходу окрестил Столбышев, к нему в кабинет в числе других поздравлявших «с большими успехами» пришел Мостовой. Поздравив Столбышева, он, как бы между прочим, спросил:

— Телеграмма была от Кедрова?

— Нет, — беспечно отозвался Столбышев, — подписана товарищем Воробьевым.

Ничего удивительного в том нет, что Столбышев не придавал значения этой перемене: в Советском Союзе даже министров назначают и смещают как угодно, что же касается заместителей министров, то иногда они входят в свой кабинет и вылетают из него значительно быстрее, чем ошибившиеся дверью посетители.

В общем, Столбышев, не омраченный никакими предчувствиями, ликовал. По несколько раз в день он подходил к прошлогоднему ка-

лендарю (в этом году календарей не прислали в район) и занимался подсчетами дней и часов, отделявших его от встречи с «дорогими товарищами из Москвы», как говорил он, избегая называть определенную фамилию, полагая, что к тому времени Воробьева могут снять с поста заместителя министра.

И, наконец, долгожданный день настал...

Когда-то редактор Мостовой сказал поэту Ландышеву: «Столбышев, это — Аполлон коммунистический. Классический тип провинциального партийного работника.»

Заместитель министра Воробьев, приехавший во главе приемочной комиссии из Москвы, был тоже классическим коммунистическим типом, но из породы второразрядных божков коммунистического Олимпа. Большого роста, тучный, он ходил неторопливо и держался просто. Однако, в каждом его движении, в каждом слове чувствовались властность и строгий расчет.

У Столбышева мотор в голове работал с перебоями, треском, вибрацией, с выхлопами, вырывающимися через рот, в виде ненужных и ничего не обозначающих слов «так сказать», «того этого». Все это малосильное пыхтение под черепной коробкой обязательно отражалось на лице. Даже когда он хитрил и пытался скрыть свои настоящие мысли и чувства, по лицу его, по желтым и шkodливым, как у нагадившего кота, глазам можно было точно установить, в какую сторону вращаются винтики у него в голове.

У Воробьева мотор в голове работал ровно, тем бесшумным, не отражающимся на поверхности, движением, которое всегда указывает на силу мотора, на слаженность и подогнанность его агрегатов. С таким мотором без труда можно было брать самый крутой подъем, обгонять другие машины, легко делать крутые повороты, преодолевать тяжелые препятствия и, при надобности, душить на пути мешающих. Казалось, что ничто — никакие трудности, никакие ухабы и неожиданные зигзаги «генеральной линии партии» не могут смутить и лишить Воробьева способности держать в колонне место, указанное ему хозяевами.

Когда Воробьев появился в Орешниках в сопровождении нескольких чиновников, плетущихся за ним, как цыплята за тучной квочкой, со Столбышевым от восторга стряслась некая разновидность паралича. Глаза его выпучились. Ноги он двигал с трудом. Зато задняя, довольно крупных размеров, часть его тела, стала вилять, как это случается наблюдать у кокетливых женщин. А лицо его застыло в глупейшей и умилительнейшей улыбке. Что же касается речи секретаря райкома, то он потерял способность ею владеть и первое время на все вопросы Воробьева отвечал «благодарю» и «так точно». Позже, когда язык его обрел некоторую профессиональную гибкость, Воробьев уже сделал свою оценку Столбышеву и поэтому оставил без ответа такую фразу:

«Мы, так сказать, отбирали только самых лучших и полнокровных, того этого, птиц...» Но именно эта фраза Столбышева заставила Воробьева обратить внимание на других орешниковских руководящих работников. Обведя взглядом толпу, выстроившуюся за спиной «хозяина района», Воробьев остановился на Мостовом. Мостовой находился сзади всех, у самой стены здания райкома. До этого времени он не

произнес ни одного слова и, кажется, даже не посмотрел на высокого посланца Москвы. Со скучающим видом он смотрел поверх голов соборща. Воробьев без слов, а только одним властным жестом поманил его к себе. Мостовой покорно подошел. Воробьев, не поздоровавшись, спросил:

— А вы какую должность занимаете?

— Газетный враль, — спокойно ответил Мостовой, и Воробьев первый раз со времени прибытия в Орешники улыбнулся, показывая белые крепкие зубы.

— Бумагу, значит, мараете? — пошутил он.

Мостовой в упор посмотрел ему в глаза и тихим голосом произнес:

— Вы, наверное, заболаете желтухой. . .

— Вот как. . . — попробовал опять улыбнуться Воробьев, но улыбка получилась кривая и растерянная. Он еще раз, но уже без улыбки, произнес «вот как», избегая смотреть на Мостового, словно ожидал, что тот продолжит разговор. Но Мостовой стоял перед ним молча и разглядывал его.

— Уж мы старались на данном этапе! — рявкнул Столбышев в самое ухо Воробьеву и ревниво оттер спиной Мостового.

— Пойдемте к складу, — коротко проговорил Воробьев и, отстранив Столбышева, взял Мостового под руку.

Всю дорогу до воробьеохранилища заместитель министра не отпускал от себя Мостового и разговаривал только с ним. Говорили они на нейтральные темы. Воробьев расспрашивал, какая охота в этих местах, очень интересовался повадками медведей. Мостовой спокойно и дельно отвечал. Никто из них ни разу не упомянул о желтухе, хотя явно было видно, что беседу заместитель министра вел лишь под предлогом выведать у Мостового причины более чем странного предположения. Правда, один раз Воробьев все же пробовал перевести разговор на другие рельсы. Когда Мостовой, рассказывая о повадке медведей, заметил:

— У них удивительно тонкий нюх. . .

Воробьев улыбнулся и пошутил:

— Как у некоторых газетных работников.

— Ну, нет, — возразил Мостовой, — у газетных работников больше трезвый вывод на основе опыта.

Воробьев опять попробовал улыбнуться и одновременно зябко поежился, словно по его спине пробежали мурашки. Заметно было, он нервничал. Слушал ответы Мостового рассеянно и, наверное, многого не понимал, потому что по несколько раз спрашивал об одном и том же. К тому же он стал раздражительным, и когда Столбышев, мотавшийся вокруг него с потерянным видом, случайно подтолкнул его плечом, он зло посмотрел на него и грубо буркнул:

— У вас что? Шило в штанах?

— Мы. того этого, организовали отбор самых полнокровных, — залепетал Столбышев.

Воробьев болезненно скривился.

Так они дошли до воробьеохранилища. Из него доносилось разноголосое щебетанье. Дед Евсигней, охранявший воробьеохранилище, по

старой солдатской привычке, — которая у солдат царской армии оставалась на всю жизнь, а у солдат советской армии забывалась на второй день демобилизации, — вытянулся, как по команде «смирно», по всем правилам держа старую, как и он сам, берданку.

— Здравствуйте, — поздоровался с ним Воробьев.

Столбышев, раскаленный восторгом, придвинулся вплотную к Воробьеву и разразился речью:

— Дорогой товарищ заместитель министра! Исторический, того этого, момент — прием членами правительства нашего скромного, но я бы сказал, ценного вклада в дело строительства. . .

— Открывайте двери, — перебил его Воробьев.

— Как — открывайте? — удивился Столбышев. — Нельзя открывать!

— То есть, как — нельзя! Вы что думаете, я через закрытые двери принимать буду?!

— Да, того этого, через закрытые двери принимать нельзя, но и открывать тоже нельзя! — убежденно проговорил Столбышев.

Заместитель министра посмотрел на него сверлящим взглядом. Столбышев съежился и стал суетливо открывать замок, приговаривая:

— Мы организуем все, так сказать, нормально. Я чуть приоткрою дверь, буду их отгонять палкой, а вы, того этого, смотрите через щелку и принимайте. . .

— Кого отгонять? Вы что, чертей наловили?!

— Что вы? Как можно? Такого приказа не было. . . — искренним тоном возразил Столбышев. Но в это время Воробьев бесцеремонно отстранил его и широко распахнул двери сарая. Как мгновенно налетающая вьюга, со щебетом, фырканием из сарая клубком вылетела плотная стая воробьев и закружилась в высоте. Ничего не понимая, заместитель министра посмотрел вверх, вытер платком с лица метко пущенную воробьем жидкую струйку и заглянул в пустой сарай. Там, на загаженном полу, плотной массой лежали трупки жертв, впервые в мире примененного, научного режима ухода за воробьями.

— А где кедры? — недоуменно спросил Воробьев.

Столбышев молча и тупо посмотрел на него и закрыл лицо руками.

— Где те кедры, которые вы должны были заготовить?!! — покраснев от злости, повысил голос заместитель министра. — Что вы молчите, как чурбан?! Отвечайте!!!

Столбышев отнял от лица руки, беспомощно огляделся вокруг, всхлипнул и судорожно схватился за карман гимнастерки, где у него был спрятан партийный билет.

— Отвечайте!!! — проревел выведенный из себя правительственный сановник.

Из глаз Столбышева брызнули слезы. Он еще крепче уцепился за партбилет, нагнул вперед голову и, как раненый дикий кабан, громко страшным безумным голосом прокричал: «Не отдам! . . . Убью, не отдам! . . .» брызжа слюной, ринулся на Воробьева и сбил его с ног.

Несколько человек с трудом оттащили Столбышева от заместителя

министра и связали его. Он перестал сопротивляться. Сразу размяк и сквозь слезы запел тоненьким голоском жалобную песенку: «Жил был у бабушки серенький козлик. . .» Он старательно пел, не пропуская ни одного слова и, когда окончил последнюю строфу: «Остались от козлика рожки да ножки», с непередаваемой болью, шепотом простонал:

— Мамочка родная, зачем ты меня родила секретарем райкома? . .

Потом он утих и только дрожал всем телом, упершись неподвижным взглядом в одну точку.

ЭПИЛОГ

Прошла осень. Пришли Рождество и Новый Год, вернее, два новых года: по новому стилю праздновали и по старому — тоже. Зима подходила к концу. Днем над Орешниками уже светило ясное солнце. От его тепла снег становился рыхлым и ноздреватым. С крыши звонко падали капли. Сугробы, достигавшие раньше величины человеческого роста, потеряли свою сахарную белизну и осели, сгорбившись, как отжившие век старички. Воздух был наполнен пьянящей свежестью талого снега, благоуханьем набрякших березовых почек и пригорклого духа отогретой на солнце прелой пшеничной соломы, которая уже местами проглядывала через снег на крышах. По ночам зима выползала из своей норы и начинала наводить свои порядки: обильно вытрушивала остатки снега, навешивала под крышами сосульки, сковывала движение первых ручейков и зло щипала за нос, за оголенные руки, шею, залазила под одежду и жалила тело каждого, кто, поверив в весну, выходил на улицу без перчаток и теплой одежды. А днем опять припекало солнце и, глядя на него, люди расчищали снег, вывозили его подальше от деревни на поле, разбивали преграды на пути ручейков. Люди боролись с зимой, потому что верили в силу солнца, в то, что дни зимы сочтены.

После того, как связанного по рукам и ногам Столбышева увезли в область, а оттуда еще дальше в неизвестном направлении, в Орешниках почти ничего не переменилось. Вернее, перемены то были, но только личные, в порядке неизменного течения жизни.

Забитый многодетный колхозник Смирнов, получив за выработанные в году 250 трудодней небольшой мешок пшеницы и 23 рубля деньгами и узнав, что ему надо заплатить государству разных налогов на общую сумму в тысячу двести рублей, повесился в своем сарае. Его сняли, долго лечили. Когда он совершенно поправился, то по совету Мирона Сечкина ушел в областной город и поступил землекопом на строительство. Теперь от него семья получала письма и посылки с черными сухарями. В письмах он писал, что «слава Богу, наконец увидел человеческую жизнь»: ест каждый день по килограмму хлеба, живет в бараке и получает 400 рублей в месяц.

Мирон Сечкин значительно расширил свое самогонное производство, купил вторую корову и подыскивал третью, но обязательно хотел только черную с белым пятном на лбу.

Дед Евсигней вместе с бригадиром Кошкиным усердно валяли валенки и продавали их в Орешниках и в других селах района. На вырученные деньги они совсем недурно жили, и дед даже отправил младшей дочери в город посылку с целой банкой меда для внучат.

Заведующий магазином Мамкин подружился с Бугаевым. Они накупили в Орешниках сухих грибов, отвезли в город и вернулись с целым мешком сахару. Сахар тут же поменяли на сухие грибы и опять повезли их в город.

У Пупина родилась дочь и на крестинах, совершенных по православному обряду, гуляло все партийное начальство во главе с новым первым секретарем райкома Ромашкой, кучерявым цыганом. Там же, под хмельком, Ромашка вспомнил, что он встречал Матюкова, и даже припомнил все подробности, как он когда-то бил штатного пропагандиста на Демьяновской ярмарке за украденного сивого мерина. На этой почве они крепко сошлись, и Матюков был у него правой рукой.

Дети Маланиных прислали на имя учеников школы письмо, в котором каракулями черным по белому писалось: «Мы счастливы, что родная партия и правительство проявляют о нас такую заботу. Где, в какой стране мира детям предоставлены такие хорошие условия, как в нашей цветущей стране?!» Обратный адрес на письме указывал, что дети Маланиных находятся в спецшколе.

Несколько позже и от Маланиной пришло письмо из Воркуты. Она писала, что ничего о судьбе мужа не знает, просила сообщить ей хоть что-нибудь о детях и в заключении письма коротко приписала, что получила всего шесть лет и очень рада, что работает в шахтах под землей. «Хоть сыро и тяжело работать, но не так холодно, а кроме того дают больше хлеба.»

Раиса не долго горевала о Столбышеве и сошлась с Ромашкой.

Чубчиков получил прибавку в 10 рублей за выслугу лет, а Сечкин, в связи с расширением самогонного производства, стал платить Чубчикову, вместо 100 рублей в месяц, — 150 «за служебную близорукость».

В общем, никаких особенных изменений жизни в Орешниках не произошло и вряд ли что-либо изменится в ближайшем будущем. А может случиться и такое, что даже после того, как советские ученые полетят в первый межпланетный рейс, в Орешниках все еще будут освещать избы керосиновыми лампами, будут ездить в областной город за солью, керосином, спичками, сахаром и прочими товарами. Если будет существовать советская власть, то, наверное, так и будет. Даже обязательно так должно быть, потому что за счет ограбления сотен тысяч таких деревень, за счет лишения их самого необходимого и строится мощь Советского Союза.

Ну, а что со Столбышевым? Что о нем слышно? И вот на эти вопросы ничего определенного ответить нельзя. Вернее, слухов о бывшем секретаре райкома ходило много. Одни говорили, что Столбышев был отправлен в Москву и находится в сумасшедшем доме. Другие опровергали этот слух и рассказывали, что в области было известно, якобы Столбышев за усердие был оправдан Центральной Контрольной Комиссией, оставлен в номенклатурных списках руководящих работников и теперь получил должность то ли директора небольшой колбасной, то ли директора Большого театра. Ходили по Орешникам и такие слухи, что Столбышев торгует в Ленинграде на черном рынке примусными иголками и сильно разбогател. А один раз откуда-то принесло до того правдоподобный слух, что дед Евсигней не выдержал и проведаль жену Столбышева:

— Ну как, цветочек, слыхала, что муж твой избран почетным академиком? . .

— Ничего не знаю. . . — заплакала жена Столбышева, вытирая огромными кулачищами слезы. — Уйди, дедушка, лучше. Арестуют меня, как Маланину, и тебе еще попадет.

В общем, слухов о Столбышеве ходило много, и каждому из них можно было поверить, потому что в СССР может случиться всякое. Но точно никому ничего известно не было. Правда, многие подозревали и даже твердо верили в то, что Мостовой точно знает обо всем. Знает и молчит. Поэтому дед Евсигней, повстречав Мостового на улице, вежливо снял шапку, поздоровался и, перекинувшись несколькими словами о погоде, как будто без всякого интереса спросил:

— Ну, а как поживает государственный воробей?

— Какой?

— Ну, да «новая эра», Столбышев, кто же другой? . . Начали мы вчера вспоминать всю эту шутку, чуть животы не порвали от смеха.

— Это не смех, дедушка, — нахмурился Мостовой. — Это страшная вещь. Страшная потому, что люди у нас лишены права рассуждать, а у руководителей здравый смысл заменен приказом начальства.

Мостовой закрыл глаза и подставил свое пожелтевшее от болезни лицо под ласкающий луч солнца. Потом глубоко с наслаждением вдохнул душистый, разъедающий его легкие воздух, и посмотрел на деда:

— Хорошая все-таки штука жизнь! . . А вот через несколько месяцев я, наверно, умру. . . Да вы не мотайте головой. Я знаю и привык к этой мысли. . . Вот больно, жалко мне, что не в силах вам помочь, — и вам, и Сечкину, и Бугаеву, и милой несчастной вдове Анюте, и всем таким дорогим и любимым, несчастным, забытым миром и людьми, а поэтому самым достойным лучшей жизни за перенесенные страдания, за все предательства и несправедливости. . . Ну, ничего, — заключил Мостовой, — может найдутся еще в мире честные люди, которые увидят дальше своего носа и будут заглядывать немного в будущее.

Мимо них проехали санки, запряженные тощей и мохнатой колхозной клячей. На них полулежал в барской самодовольной позе Матюков:

— Но! Пошевеливайся. . .

Два воробья, сидевшие неподалеку на заборе, реагировали на приближение Матюкова по разному: один, перепуганно чирикнув, улетел; второй, потрусив хвостиком, поудобнее уселся. Наверное, он был залетным, не испытал на своей шкуре «воробьиной эры», не делал различия между Матюковым, дедом Евсигнеем и Мостовым, и Наверное не верил, что здесь воробьям приходилось страдать и переживать ужасы. Судя по его виду, он был из умных воробьев.

Но, видимо, одного ума недостаточно, надо иметь еще и опыт.

К О Н Е Ц